

Татьяна
Соломатина



ОДЕССКИЙ ФОКСТРОТ



Татьяна Юрьевна Соломатина

Одесский фокстрот

Текст предоставлен автором
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5635949

Аннотация

Это не роман. И не «роман в эссе», как, по меткому определению моей подруги и по совместительству – литредактора, был обозначен жанр «Моего одесского языка». Это не крик души и не шёпот сердца. Не печаль разума и не поиск чего бы то ни было: себя, истины, правды... Это симпатическая реакция. Мне всё время кажется, что на мне стоит клеймо. И оно постоянно чешется. Проявись оно когда-нибудь как обычная татуировка, там было бы одно слово – «Одесса».

Автор

Содержание

Мне не нравится этот город	5
Нет выбора	16
Трасса здоровья	37
На тринадцатой фонтана	76
Конец ознакомительного фрагмента.	98

Татьяна Соломатина

Одесский фокстрот, или Чёрный кот с вертикальным взлётом

© Татьяна Соломатина, 2013

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

*– Это такой кот, который никогда не перейдёт
дорогу?*

Один Умный Читатель

– Такой. За исключением слова «никогда».
Автор

Мне не нравится этот город

Мне не нравится этот город. Мне не нравится его пыльная, покрытая цементной крошкой почва. Мне не нравится речка-вонючка, протекающая невдалеке от...

– Здесь была джутовая фабрика!

Таксист. С большой натяжкой – мой ровесник. Минус тяжёлые условия быта, еженедельные запои с пятницы по воскресенье, в тени винограда, отсутствие элементарной стоматологической культуры и простейших гигиенических навыков. Как вариант. Или я гуманист, а ему шестьдесят, не меньше.

– Сколько вам лет?

Никогда не разговаривайте с таксистами!

– Двадцать-восемь-а-что?!

Скороговорнув, смеряет взглядом. Прикидывает, сколько тётке можно дать. Оборачиваться-то зачем, милый? Есть же зеркало заднего вида! Там же по курсу дыра размером с трамвай. Но тому повезло – у него другой курс. Хотя и сам

он вот-вот слетит с рельсов из-за вагоновожатой, в одну сторону – разудало курящей, в другую – пьющей кофе. Чем она – в третью – кокетничает с твоим, таксист, братом-близнецом – мне непонятно, не говоря уже об вести трамвай. Всё непонятное меня пугает. Например, почему пассажиры этой неуправляемой электроторпеды ещё не в панике?! Бесстрашие и безголовость – близнецы-братья. Как знать, кто сейчас у руля?

Мне не нравится этот город.

Мне не нравится этот город за вдрызг разбитые дороги. За балконы, немо кричащие: «Я голосую за Кивалова!» Голосуй, родной! Хоть синеньким, хоть с бантиком. Только там же внизу ходит немного людей. А вы, балконы, не голосуйте! Какое голосование, если на вас и высунуться-то страшно, не то что выйти?! Кто весит больше пятидесяти килограммов – курит на кухне. Кто больше центнера – лучше сразу добро пожаловать на бетонный мол Морвокзала, кнехт номер сто семьдесят пять, с видом на корнеротов, парящих в сизых водах акватории. Плавать умеете? А карабкаться по ржавым стальным цепям? Это я так, на всякий случай. Если физическая подготовка всего этого не позволяет – вам курить вредно. Однозначно. В этом городе вообще всё вредно. Особенно – пытаться избежать.

Мне не нравится этот город за почти уничтоженные бесхозяйственностью бельгийские постройки и более поздние – румынские, «военнопленные». За его ежесекундную, нико-

гда не преходящую суицидальную готовность ухнуть в тар-тарары катакомб, унося тебя с собой. Когда ты поменял веру, город? Когда ты из развесёлого, ироничного агностика-вольтерьянца, из добродушного одесского еврея Хаима, лопающего винницкое сало с греческими маслинами и завтракающего поллитрой русской водки, превратился в исламиста-смертника, готового утащить за собой любого зазевавшегося? Кто перекрестил тебя? Неужто неистово купоросащийся, ощущая правой почкой близость мечети, французский еврей Дюк?

– А вам?!

– Что?!

– Вам сколько лет?

– Мне столько, что я забыла всё, что вы сможете узнать про джуд.

– Откуда?! Фабрика же сто лет как закрыта!

– Значит, мне сто лет плюс восемь классов. Потому что как раз после окончания восьмого нас отправили сюда проходить практику.

– И?

– И месяц все сморкались мешками, канатами, бечёвками, суровой нитью и прочей пенькой.

– Шутите?

– У меня нет чувства юмора.

Мне не нравится этот город за наглых таксистов.
Притормаживает – на дороге голосует девчонка.

– Вам не интересно, что я думаю по этому поводу?

– А что?

Пожимаю плечами.

– Она вам что, помешает?

– Помешает.

Даёт по газам. Видавшая виды древняя красная «восьмёрка» (она же «зубило») – шик комсомольской номенклатуры времён «ЧП районного масштаба»¹ и выходящего из подполья в свет криминала – чуть не разваливается на запчасти, так он зол на меня.

– Совсем обнаглели в своей Москве.

– Есть малость.

Я что, чокнутая, спорить с этим камикадзе, заломившим мне такую цену за поездку длиною в двадцать километров, что мы, разумеется, в своей Москве обнаглели? Не говоря уже о подсадке, не практикующейся даже в странах третьего мира. Мне не нравится этот город за то, что он находится в

¹ Книга Юрий Полякова, 1985 год.

четвёртой стране мира – Украине. Жил-был город, а потом – бац! – сам виноват.

– Не, ну а чего такого?! – не выдерживает через минуту. – Вы же сзади, так чего девочку не подвезти спереди, если по пути?

– Того. Есть определённый этикет. Правила профессионального поведения. Кодекс чести таксиста.

– Бензин дорогой. Не то что у вас в России.

– У нас в России бензин вообще даром наливают. Каждому по потребностям.

– Чего?!

– Напротив джутовой фабрики был райком комсомола Ильичёвского района. Там хорошо знали про способности и потребности.

Мне очень не нравится этот город за разговорчивых таксистов.

Мобильник водилы раздражается тягуче-кошачьим «Владимирским централом».

– Я тебе сказал, скоро буду! Нет, не хочу! Нет, сказал тебе! Я тебе сказал! – Нажимает отбой. Смотрит в инкрустированное цементной пылью зеркало заднего вида: – Жена. Достала!

– Вы сидели? – резко меняю тему, чтобы не слушать, чем

его достала жена. Жёны и мужья достают друг друга одним и тем же по одним и тем же местам.

– Какого это?!

– «Ветер северный, этапом из Твери...»

– Да нет! Просто нравится.

Мне не нравится этот город за псевдоблатной налёт, присевший на него плотнее зубного камня в пасти шофёра раздолбанного четырёхколёсного хлама. Впрочем, «зубило» – уже не хлам. Антиквариат. Или, как сказал бы мой приятель из Сан-Франциско, – винтаж! Только у Лёвы Юровского – винтажные BMW, на которых он, забавы ради, принимает участие в гонках по извитым улочкам Фриско. По созданным добрыми американскими полицейскими коридорам. С установленными по ходу следования пожарными машинами и реанимационными каретами «Скорой». А у таксиста этого не нравящегося мне города – винтажная красная «восьмёрка». На которой он чешет по взбитому, вздыбленному асфальту, ежесекундно рискуя не только своей, но и моей жизнью. Не представляю себе, например, нью-йоркского таксиста, сначала громко орущего в трубку, а затем оборачивающегося ко мне и раздражённо-доверительно сообщающего: «Жена достала!». Или так: «Клята жинка!» Или: «My wife... Shit happens!»

Мне очень не нравится этот город за то, что все здесь искренне полагают, будто их жизнь хоть кому-то интересна.

Все эти их бесконечные разборки с супругами, тёщами, свекровьями, детьми, троюродными сёстрами, двоюродными дядями и соседями. Мне не нравится этот город за то, что они принимают иллюзию эмпатии в виде улыбки и вежливо-равнодушного взгляда за искренний интерес. Мне не нравится этот город потому, что его люди не научились не то что властвовать, а хотя бы разделять. Поэтому у таксистов никогда нет сдачи, а разменять уже негде. И «Визу» можно всунуть только разве что водиле в одно небезызвестное место.

Мне не нравится этот город потому, что тут темнеет не только рано, но и густо. И в доме, куда я приехала, меня будут встречать.

Мне не нравится то значение, которое в этом городе вкладывают в слово «встречать». Здесь встречать – значит накрыть стол на полк гусар, хотя я вполне могла бы обойтись рюмкой мною же приволоченной дьютифришной водки и искренним теплом. Но на столе уже стоят: фаршированные го-гошары (каждый размером с Африку); фаршированная же рыба (примерно с Евразию); видов десять селёдки (включая форшмак и селёдку под шубой); красный борщ (огненный, как взрыв сверхновой); паштет из кабана (взбитый из ещё дымящейся печени); жаркое из того же зверя; царская уха (сваренная, похоже, из сорока сортов рыбы); овощи (без меры, приготовленные всеми доступными человечеству способами); салаты (в доставляющих количествах, как будто мало предыдущих овощей); закуски-колбаски-сыры-фрукты. И

виноград-виноград-виноград. И компот на третье. В восьмом ряду. Из винограда же.

Мне не нравится этот город из-за того, что под это, мягко говоря, изобилие мне будут рассказывать, как тяжела жизнь, какие все сволочи, всё лето принимаем гостей, хоть бы один хоть что-то на стол купил.

Мне не нравится этот город потому, что тут всё ещё меряют на колбасу и туалетную бумагу. Мне не нравится этот город за то, что я тут выгляжу нелепо со своим дорогим бухлом и каждый раз, как совершеннейшая дура, покупаю в подарок брендовую косметику, трепетно удерживая в памяти, что моя подруга – брюнетка с белой мраморной кожей, и напрягаю этим снобов-консультантов парфюмерных бутиков. Мне не нравится этот город потому, что я снова и снова даю ему слово привезти двадцать килограммов докторской колбасы и контейнер трёхслойной туалетной бумаги, но опять и опять слово нарушаю, вспоминая, что брюнетка с белой мраморной кожей – не комбинат по обслуживанию приезжего населения, а просто красивая женщина и моя подруга.

Мне не нравится этот город из-за того, что он сходу инфицирует меня гнуснейшим из вирусов – вирусом бесконечных взаимозачётов, – и во мне всплывает гадкое плебейское желание озвучить стоимость привезённых мною бухла и косметики. В пересчёте на колбасу и туалетную бумагу это должно произвести! Но иммунитет, закалённый постоянным соприкосновением с пожизненными носителями, побеждает.

И я молчу, лишь щёки полыхают и уши горят, выдавая свинскую борьбу внутреннего кабана-крестьянина с глубинным вепрем-аристократом. Авек плезир, моё сено самое лучшее – чистый клевер! – у любого купца спросите, а я себе лапши закажу и буду молча это кушать.

Мне не нравится этот город потому, что мне тут же скажут, де – нет-нет-нет! – тебя это не касается – про стол, сволочей и туалетную бумагу, родную сестру докторской колбасы. Что ты, что ты! Полным-полна морозильная камера от пола до потолка! Мы так рады тебя видеть, тем более, сейчас уже осень.

Мне не нравится этот город из-за того, что на «Октябрь уж наступил...» мне отвечают: «Почему ты ничего не ешь?!»

Мне не нравится этот город за то, что я не могу позволить себе остановиться в гостинице – проклянут и на похороны не позовут! «Любовь и голуби» в почёте, в отличие от засранного бессменными городскими горлицами вечного Александра Сергеевича под платанами в начале Приморского бульвара.

Мне не нравится этот город за то, что здесь не уважают личное пространство – и я не имею в виду дистанцию. Город становится родным, когда ты отстоял у него своё одиночество. Или заслужил.

Мне не нравится этот город. И никогда не нравился. Или я не заслужила.

А то, что крадёт здесь моё одиночество, думает, что я уехала отсюда в погоне за успехом и большими возможно-

стями.

Но я уехала из этого города, потому что он мне не нравится.

И каждый год я приезжаю сюда. И приезжаю, и прилетаю. В этот город. Несмотря на пыль, грязь, цементную крошку, наглых таксистов и невозможность избежать.

Сейчас я выкачусь из-за стола, и, рассекая набитым животом густой мрак, поплетусь к морю, охая, ахая, пыхтя, проклиная обжорство и давая себе триста тридцать третье слово чести останавливаться отныне только в гостинице! Минут через пять глаза привыкнут к придонной тьме небес. Минут через десять станет легче идти, потому что вот уже десять минут – о, блаженство! – никто не заливает мне в уши про бывшего мужа-гада, сынишку-двоечника, родителей-эксплуататоров, тётку-тварь, дядю-алкаша и горячую, неистовую любовь к ним в целом и к каждому по отдельности. Я плыву сквозь пыльные пласты ночного города, неся впереди себя, как знамя, живот, нафаршированный гогошарами, гефилте-фиш, паштетом из кабанчика и царской ухой с борщом вперемешку. Я тащусь к морю. В одиночестве. Потому что... Море? Ночью?! В октябре?! Да она сумасшедшая!

Да, я сумасшедшая. Будь я нормальная, разве бы я ездила в этот город, который мне не нравится?

Я разденусь. И медленно войду в прохладную воду. Войду, ни разу не вздрогнув. Первое октября. Двадцать два гра-

душа водной стихии. Восемнадцать – воздушной. Всё относительно.

Я медленно войду и медленно поплыву. Поплыву, оставляя за собой этот не нравящийся мне город. И прогудит уходящий куда-то в сторону Аргентины пароход. И подмигнёт Воронцовский маяк. И ужалит оскорблённый вторжением в его стихию корнерот.

Я буду плыть, оставляя за собой берег и всё, что примостилось на нём. Приземлилось, пристроилось, прижилось. Всё.

Я буду плыть, пока огни порта не превратятся в тонкую мерцающую полосу на границе воздушной и водной стихий. Буду плыть, пока дистанция между мной и нелюбимым мною городом не потеряет обменный эквивалент и вместе с плеском мелкой волны в меня не вольётся долгожданное одиночество.

Но я плыву не за этим.

Я плыву только за тем, чтобы ко всему вернуться.

Этот город – начало всего.

И у меня просто нет выбора.

Нет выбора

– У меня просто нет выбора!

Боже мой, какой гадкий прононс! Какая нарочито привозная манерность! Фи!

– Потому что его просто нет! Они все меня достали, но мне некуда деваться!

Оборачиваюсь. Девочка и мальчик. Два пива. По одному перед каждым. Девочке и мальчику лет по двадцать пять. Она – тоненькая, симпатичная. Может стать красивой. Если бы только не эта ужасающая речь. Мальчика не вижу – он ко мне затылком. Выкручиваться ужом неудобно. Девочка и так уже отметила мой к ним интерес – и вместо того чтобы стать тише и скромнее, почувствовала себя на сцене. Можно понять – иди знай, когда следующий бенефис.

– Это же с ума сойти!

Я сижу на застеклённой веранде ирландского паба. На Дерibasовской. Это очень модно – ирландские пабы. Что на Дерibasовской, что на Ланжероновской, что в аэропорту Домодедово. А в аэропорту – это ещё и чертовски полезно!

Потому что в ирландском пабе аэропорта Домодедово можно курить. За чашку кофе снимают стоимость кофе, воды, сахара, сливок, плюс триста процентов наценки общепита, плюс полтинник сверху – за возможность. Ибо курить, не ощущая себя негром времён жесточайшей сегрегации, – это fine! И, прямо скажем, даже excellent! Это вам не давиться чужим дымом и чужими запахами в стеклянной банке-курилке, набитой: потными украинскими шабашниками, летящими до дому до хаты; издающими ядовито-мускусные испарения азербайджанскими деловыми, летающими туда-сюда-обратно за своими каракулево-арбузными гешефтами; густо покрашенными дамами в велюровых спортивных костюмах, с величием кухарок, управляющих государствами, бросающими в телефон про предстоящий отдых в олинклюдной Туреччине; служащими аэропорта, всегда сохраняющими выражения лиц первых христианских мучеников. И у меня просто нет выбора, потому что комфорт мне давно дороже денег – с тех самых пор, когда никаких денег у меня, признаться, вовсе не было. Иногда даже создаётся впечатление, что рейсы в аэропорту Домодедово задерживают вовсе не потому, что в чартерном такси с крыльями не успели поменять масло и подкрутить пару гаек, и не из-за метеорологических капризов вокруг нашей отдельно взятой страны. Просто ирландский паб отстёгивает диспетчерам и пилотам! Вот они где кроются, истинные тайны заговоров!

– Выбор это... Всегда есть... Можно это... Просто... Уйти это...

«Уйти это» – это пять! Мальчик так и сыплет афоризмами, закусывая своё и без того ватное мировосприятие пивком.

– Откудова уйти?

Откудова, блин! К тудашнему, нах! Выключите девочку! Я, между прочим, в ирландском пабе на Дерибасовской торчу не ради отменного, надо признать, одноимённого кофе с виски. И вовсе не из-за ананасового фрэша, в кои-то веки не разбавленного одесской водопроводной водой, вкус которой я безошибочно вычисляю по одной молекуле, хотя уже много лет не живу в этом городе. Я тут, чтобы поработать.

В доме подруги работать невозможно. Хотя сама подруга на работе. Но в доме подруги сейчас проживает её троюродная сестра по матери двоюродного кобеля бездомной суки. На правах смертельно больной. Права смертельно больных неоспоримы. Она смертельно больна вот уже три года – и моя подруга справедливо полагает, что троюродная сестра скоро умрёт. Как будто хоть кто-то из нас умрёт не скоро! И вообще, что такое эти «скоро»/«не скоро»? Я так полагаю, вчера похоронили – это «скоро». «Чтоб ви мне жили до сто двадцать лет!» – это «не скоро». А тысячу? Это уже вечность.

В пересчёте на колбасу – вообще экзистенциальный мрак. А три года как смертельно больная троюродная сестра моей подруги скоро вот уже десять лет как приезжает пожить к ней в дом на всё одесское лето. А это, слава богу, половина от трёхсот шестидесяти пяти дней. Несмотря на глобальное потепление-похолодание. Смертельно больная троюродная сестра смертоносно надоедлива. И потому работать совершенно невозможно. Не говоря уже о том, что в доме моей подруги очень условный вай-фай. Условный, как всё одесское. Вроде и есть он, а как письмо по делу срочно – так его уносит с берега моря в бескрайнюю степь. Даже в безветренную погоду.

От троюродной сестры моей подруги и неуловимого в степях вай-фая сбегая в уютный и достаточно пустынный в это время дня ирландский паб на Дерибасовской. Сажусь за крайний левый столик веранды спиной к официантам и немногочисленным посетителям. И работаю. Ну, когда не наблюдаю за движением инкассаторов у служебного входа национального банка. А они, надо признать, двигаются частенько. И судя по габаритам бронированных грузовиков, вовсе не напрасно.

– С работы, это... Это... От родителей. Начни, это, новую жизнь.

Они что, брат и сестра, эти девочка и мальчик? Два пива –

по бокалу перед каждым. Ни тебе цветочка. Ни тебе пирожного-мороженого. Унисекс.

– Так это легко сказать!

И то правда. Иные так проросли корнями в своё отсутствие выбора, что уже желания выбирать не имеют. Не то что возможности.

– Так, а чего тогда говорить это? Это понятно, что, это... свистеть – не это, не мешки ворочать.

Захлопываю лептоп. Работать не получается. Сзади, цепляясь за пни и колоды, плетётся вялая беседа, всё «из того же материала». Впереди, за окном веранды, у служебного входа национального банка снова закрутились мужики в бронежилетах. Двое – красивые, фигуристые, мощные. Двое – так себе. А один – просто насмешка над бронежилетом. Те, что так себе – ворочают мешки. Перекидывают их из двери служебного входа в сейф на колёсах. Двое красивых, удерживая презрение на лицах, наблюдают за течением финансовых потоков. На скульптурно безупречных шеях висят автоматы. Я пью кофе по-ирландски, запиваю его ананасовым фрешем, а напротив – двое фигуристых мужиков с автоматами на шее. Солнечный октябрьский полдень. Дерибасовская. Мешки с деньгами и мужики с автоматами на шеях всегда идут рука

об руку. Рядом. Но в разные стороны. Отсюда и обречённое профессиональное презрение, хищно изгибающее ноздри, и нервное напряжение, подпирающее желваки.

– Не, ну а как?

– Ну, это... Просто. Снимаешь квартиру...

– Та хде ж я бабки на квартиру возьму?!

– Ну это... Где-то же, это, люди берут. Это.

Последний мешок исчезает в недрах бронемашины. Красивые с автоматами закрывают двери и растворяются в пространстве. Через несколько мгновений передо мною снова почти пустынная Дерибасовская. Беспрепятственно просматривается до крутого склона к Пушкинской.

Девочка как-то немислимо извернулася. Скорее даже изломалася. Хорошенькая кругленькая филейная часть резко уехала влево, некрасиво распластавшись. Плечи – феерической кривой изогнулись вправо и кверху – и представляют собой полумесяц. Ноги она скрестила, умудрившись при этом обвить ими ножки диванчика. Мальчик сидит понуро и сутуло, но ровно. Аккомпанемент не должен затмевать сольную партию. Пусть солистку потом мучает неудавшийся концерт и очередной неподписанный ангажемент. Тапёр механически стучит по клавишам, привычно перелистывая ноты. Было бы на пиво, а бабы – так, орешки от заведения. Бесплатный бонус мироздания. В стекле веранды отража-

ется равнодушный затылок мальчика, покрытый длинными, неухоженными, засаленными волосами.

– А у тебя откуда квартира?

Нет, точно не брат и сестра, хотя её чрезмерно замысловатая поза и так отмела последние сомнения. Сестра бы знала, откуда у брата квартира. Смертельно больная троюродная сестра моей подруги знает даже, откуда у родственницы трусы. И почём. И вообще – всё знает. И про любовь, и про благосостояние. Чужие. Только всё время забывает про чужой труд. А про свой, похоже, никогда и не вспоминала. Смертельно больных положено жалеть. Положено всё им прощать. Кем и когда положено? Иные смертельно больные обломаются. Потому как щёки не резиновые. Мои. А подруга, видимо, всё ещё проверяет свои ланиты на гуттаперчивость.

– Так, это... От бабки это. Прабабки. Квартира. Прабабка, это... умерла. Ну и, это, вот. Это.

– А-а-а... Повезло.

Прабабке-то? Похоже на то. Или на это. Нагловатая манерность девочки мутировала в тугую кокетливую тянучку, не утратив основополагающие видовые признаки. На правах натуралиста наблюдаю за чужими брачными игрищами. По её интимному «повезло» становится очевидно, что они даже

не троюродные родственники. Медленно сосут пиво. Мальчик отчего-то немного смущён. Надо бы что-то сказать. «А ничего, это, не, это... Не идёт. Это».

– Да. Это есть. Повезло. Да. Прабабка умерла, так, это... Повезло.

– И ты, что, там совсем один живёшь?

Нет, ну это уже просто неприлично! Уж насколько я не...

К служебному входу национального банка снова подадут бронепоезд. Балет для квинтета в бронежилетах с двумя автоматами повторяется. Интересно, в бронированном грузовичке есть водитель?

– Это... Да. Один. Это. Я ж тебе писал.

Вот, блин, тоска на... Интернет. Первое свидание. Так сказать «раз-вир-ту-а-ли-за-ци-я». И не выговоришь. Где ты, старый ребусник Синицкий?!² В гробу сидит твой первый слог, он под землёю быть обязан. Давно истлели твои кости на еврейском кладбище Черноморска. Возможно, внучка твоя Зося, отказавшая Великому Комбинатору, и была той самой прабабушкой, которой повезло умереть. И бес уже

² Пояснение для «пивного» юношества: ребусник Синицкий, Зося Синицкая-Фемиди, город Черноморск, Великий Комбинатор и Перикл Фемиди – из романа «Золотой Телёнок», написанного московскими одесситами Ильёй Ильфом и Евгением Петровым.

пнул меня под рёбра, скотина! Полуоборачиваюсь:

– Прошу прощения, ваша фамилия не Фемиди?

– Шо?!!

– Извините.

Отворачиваюсь.

В отражении вижу, как он крутит пальцем у виска.

Должна же я была на него посмотреть! Девочка, беги! Пусть ты не слишком умна, и говор твой похож на коктейль из мелких камней с пляжей Пересыпи со взбитой пылью подворотен Молдаванки, но это ещё не повод оскорблять себя пивасиком без единой георгинки или астрочки на закуску.

Пиво выпито. Подходит официант.

Безупречных официантов не бывает вообще, а в Одессе – в принципе. Зато у них красивая форма – в этом ирландском пабе на Дерибасовской. Уютные брендиванные зелёные фартуки. Но вот выражения лиц... У красивых мужиков в бронежилетах, с автоматами на шеях, фактурней. Тех можно смело снимать как есть в каком-нибудь сериале про спецназ, спецхран и прочий спец. Официант проканаает только на мелкую ролишку проходного халдея, который так произнесёт своё «Кушать подано!», что жрать перехочется. Но в антракте рекламной паузы буфет возьмёт кассу наценкой на градус жидкости.

Нарочито-равнодушно прибирает бокалы из-под пива.

Ещё равнодушной, с выраженной ноткой пренебрежения, долго витающей в воздухе застеклённой веранды, роняет:

– Что-то ещё будете?

– Это... Ещё два пива. Этого. Же.

Ну, скажи, девочка! Скажи, что ты хочешь кофе по-ирландски, тирамису и вазу для букета! Скажи! Тут вопрос во-все не в деньгах, а в мыслях! В неозвученных желаниях, которые превратятся в окаменевшие экскременты преткновения, если у вас хоть что-то получится. Не прогибайся! Произнеси вслух то, что ты так оглушительно громко думаешь: «Какого хрена ты, мудака, заказываешь мне пиво?! Ты полгода переписывался со мной в социальных сетях, наконец решился пригласить – и угощаешь пойлом, более уместным на трибунах заштатного стадиона с однополыми друзьями?! Подайте шляпу и пальто!»

– Ты, это... Может, что-то хочешь?

Весь мир замирает в ожидании.

– Нет.

Сквозь высокомерно процеженное «нет» вопиет «Да! Да!! ДА!!! Хочу! Хочу, шобы любили, шобы заботились!!! Ликё-

ру хочу! Шэридансу, шо ли?..»

– Нет. Я, шо, себе заказать не могу? Шо, я бы не заказала, если бы шота хотела?

Ах, это претенциозное повелительное «пфуй!» всемогущих королев. Конечно же, можешь. Конечно бы, заказала. Ты вообще – царица мира. Только беги! И не спрашивай: «Не, ну а как?» Ногами! Отвинчивай свои нижние конечности нехилой длины от извитой ножки кабацкого диванчика – и беги, сколько есть сил! От Дерибасовской до Ланжерона через парк Шевченко. От Ланжерона до Аркадии – по трассе здоровья. От Аркадии до Шестнадцатой Фонтана – прямо по стройплощадкам и дворикам плодящихся почкованием кондоминиумов. От дачи Ковалевского до Черноморки. Упадёшь, придёшь в себя – уходи. От всех. Не то ремонтировать тебе квартиру покойной прабабушки, фаршировать рыбу, ненавидеть искренних и сквозь зубы быть вежливой с ненавистными. Всю жизнь. ВСЮ ЖИЗНЬ! А мы все так скоро умрём...

Официант, многозначительно хмыкнув – но не придерёшься! – уходит. Приносит ещё два пива. Мальчику. Девочке. Пейте, дети. Взрослая тётя хлопбыстнёт три по...

– Сто. Я помню. «Финляндия», клюквенная, но не крас-

ная.

Сдержанно улыбается. Со мной он не так высокомерен. Даже угодлив. Глаз намётан. В воздухе веранды повисает фруктовая нотка.

Чёрт! Опять опоздала к началу действия! Бронепоезд уже причалил. Трюмы распахнуты. Те, что так себе, чуть не выпрыгивая из бронежилетов, играютя мешками, как портовые грузчики астраханскими арбузами. Ловко. Куда в конце деваются фигуристые солисты – так и не отслеживаю. Растворяются в Нагвале. Мистический реализм. Кто Кастанеду читал, тот над суровыми мужиками в бронежилетах не смеётся. И не зря дядя Маркес любил военных, красивых и здоровенных.

Кстати, что за бесконечный чартер-транзит выючного бабла? Разве инкассация не в строго определённые часы раз в день? Или два? Или сколько там? Я совсем ничего не смыслю в банковском деле. В автоматическом оружии тоже. Но мощные фигуристые мужики меня всегда завораживают. А уж мощные фигуристые мужики в бронежилетах... Вот вроде умная. Типа пацифист. Вот всё понимаю! Но магия реализма калашей... И кто тут осуждает живую композицию «мальчик + девочка + два бокала пива = что?..»

Мальчика с девочкой тоже профукиваю. Потому что три по сто требуют сосредоточения.

Размышляю, как оно у них там? Сразу пошли к нему? Или

хотя бы по Приморскому бульвару прогулялись? Затем незамысловатый быстрый секс – а какой он ещё бывает в их возрасте? Горькое послевкусие у неё. Вообще ничего – у него. И привет, социальные сети! На квартиру от прабабушки можно и чего покруче ловить. Квартира от покойной прабабушки – это же по состоянию подсознания современных масс уже практически «old money». Потому что в пересчёте на... ну, вы поняли.

Подходит официант:

- Вы не могли бы рассчитаться?
- Выгоняете?
- У нас смена. Извините.

Делает вид, что смущается. Вряд ли из-за чаевых. Скорее из-за бухгалтерии. Ругнуться, что ли, на старости лет? Но три по сто делают благостной. Достаю «Визу».

- Пойдёте со мной в гостиницу?

Видимо, у меня слишком круглые глаза в ответ на такое чересчур откровенное предложение. И чего ему сказать? «Милый, я замужем!» Или что чаевые я лучше дам деньгами, а он пусть подыщет ровесницу. Или пошутить, что я таким способом уже давно не расплачиваюсь?

– У нас терминал сломался! Мы его на пол уронили. А в гостинице...

В кабаке под сенью четырёхзвёздочной «Фраполли» всего один терминал? И тот на пол уроненный.

– Ну вот! А я уже почти настроилась...

Официант краснеет.

Подходит менеджер. Слышала. Приносит извинения. В гостиницу мне идти, чтобы оплатить собственный счёт, признаться, не охота. Но менеджер просит пардонов только за ляпнутую официантом двусмысленность и не предлагает мне вариант, при котором я могу, накапливая совокупно, торчать тут до вечера вне зависимости от разбитых терминалов, сменяющихся официантов, властей и проч. Хотя в этом ирландском пабе меня отлично знают, и мною уже насижено на хороший ремонт в прабабушкиной хате того пивного мальчика. Но что для одесситов репутация? Вот наличная туалетная бумага – другое дело!

Расплачиваюсь наличными. Ровно через пять минут ко мне прибегает бодрая девочка в зелёном фартуке из новой смены и уточняет, не хочу ли я чего. Хочу. Поработать. Поэтому заказываю клубный сэндвич. Он у них вполне. Стоит, правда, как и положено уважающему себя четырёхзвёздоч-

ному бутерброду, но это не важно. Зато там гарнирная капуста вкусная. К водке в самый раз.

Открываю лептоп. Курсор нервно мельтешит, стараясь избежать попадания в опостылевший ярлычок. Но это Одесса. Избежать невозможно. Вяло открываю файл с текущей работой. Увы и ах, это не рукопись. Это сценарий. Откуда-то в голове всплывает фраза: «Из него не вышло писателя. Из него не вышло даже сценариста!» Сценарии – это прекрасно! Просто у меня всё опять с точностью до наоборот. Город рождения даёт о себе знать. У одесситов всё через то самое небезызвестное место, куда тутошнему таксисту можно всунуть «Визу». И я не свой сценарий творю. Я пишу сценарий на заказ. «Похоже, писатель просто зарабатывает деньги!» – как было сказано обо мне в одной газетёнке совсем по другому поводу. Отчего же это? Очень даже непросто! Ох как непросто! Кто не верит – может попробовать и убедиться. И «деньги» – это слишком торжественно объявлено. Зачем я это делаю? Я о сценарии. Затем, чтобы иметь возможность заказать три по сто «Финляндии», клюквенной, но не красной, клубный сэндвич, кофе по-ирландски и ананасовый фреш. Разумеется, я могу без всего этого прожить. Могу, но не хочу. А раз я не хочу без всего этого жить (и тем более – не хочу пересчитывать это всё на туалетную бумагу с докторской колбасой), то у меня просто нет выбора. И я пишу сценарий. Переписываю. Уже не помню, который раз. И из приличного, увлекательного мыла сценарий – по истош-

но-настоятельным, изнуряющим меня требованиям продюсера, – превращается в два притопа, три прихлопа для тех самых мальчиков и девочек – по пиву на нос. Точнее – для их окончательно повзрослевших и бесповоротно постаревших версий. Но эта работа – всё лучше, чем страдать, давить на жалость и одалживаться, как делает иная пишущая братия, сильно пострадавшая от проседания бумажных продаж в эпоху поголовной доступности ворованных электронных версий. Я не умею страдать, давить на жалость и просто физически не могу одалживаться. Так что у меня просто нет выбора.

Решаю проверить почту. О! Письмо от режиссёра. Ну разумеется, что-то опять и снова не устраивает его, а двадцать пятое и десятое не устраивает продюсера, а всё остальное – редакторов и цензуру канала. Чтоб вы все были здоровы! Подавить приступ ярости можно только ещё одной соткой. Всё лучше, чем антидепрессанты. Оборачиваюсь в надежде, что меня узрит новая официантка. И натываюсь на тяжёлый взгляд мужика. Дежа вю. Когда это он успел сменить бронежилет на рубашку в широкую полоску?.. Нет. Конечно же – это не он. Показалось. Значит, ни ему, ни мне это ничем не грозит. А жаль. «Негрозит Ажаль». Француз греческого происхождения. Или наоборот? Не важно. Звучит очень по-одесски.

– Можно составить вам компанию?

Он с ума сошёл? Мне сто лет в обед плюс восемь классов!

Театрально оглядываюсь позади себя. Но дальше только стекло, служебный вход/выход нацбанка, бронированный грузовичок, танцы с вожделенными для всех пивных мальчиков и девочек мешками. И Дерибасовская. Это типа вы мне?

Точно мне. Давненько ко мне никто не... Я уже и забыла, каково оно. Раздуться, что ли, от гордости? Так и до нозологии «Я ещё ого-го!» рукой подать. Тут столько юных дев, а дядя в дорогую полосу меня целью обозначил. Ну то, может, он близорукий.

– Нет.

Я вежлива и корректна. Я воспитана и интеллигентна. Большую часть времени. Никто не знает, что иногда я превращаюсь в оборотня и страшно капризное чучело. Никто, кроме мужа.

– Вы одна, я один...

– Я замужем.

– Кому и когда это мешало?

– Мне.

Ещё мне мешает то, что дядька явно с украинским говор-

ком. А западенцев я не воспринимаю, хоть в льняных рубашках, хоть при часах стоимостью в BMW. Межвидовой барьер у меня с самцами с Западной Украины. Считайте меня половой националисткой.

Отворачиваюсь. Продолжаю читать письмо от режиссёра. Всею нехилой спиной бывшей пловчихи ощущая взгляд не привыкшего к отказам самца. Ну не пересаживаться же мне задом к мешкам и бронежилетам! Они мне нравятся.

- С мужем переписываетесь?
- С режиссёром.
- Ваш муж режиссёр?
- Мой режиссёр – грузин.

Долго переваривает.

- Шутите?

О боги, боги!

- У меня нет чувства юмора.

Переваривает.

- Вы из России?
- Да.

Забавно отвечать «да» на этот вопрос. Особенно учитывая то обстоятельство, что я прямо отсюда – два квартала вверх, к Воронцову, и четыре налево – к Привозу. Туда меня привезли из роддома, там я и выросла.

– Я сразу понял.

– А вы из Винницы?

– Я из-под Винницы. Родом. Из Хмельника. Как вы догадались?

– Я сразу поняла.

Надулся. Ну и кто из нас мальчик? Я же не обижаюсь на то, что я из России.

Справляется с собой. Бизнесмен всё-таки. Дерibasовская. «Фраполли». Ирландский паб. Не пересаживается. Не посягает. Сидит вполоборота. Вежлив и корректен. Работа мысли располосовывает морщинистый лоб. Ах, девочка, рано вы с пивным мальчиком освободили плацдарм у меня за спиной.

– Можно, я вас угощу?

– Можно.

– Чего желаете?

Оживляется.

– Двести граммов докторской колбасы, рулон туалетной бумаги и объединения Украины с Россией.

Винницкого бизнесмена от меня спасает подошедшая компания его собратьев. Он вежливо извиняется. Я возвращаюсь к своему грузинскому режиссёру, продюсеру-еврею и донельзя туповатому сценарию мыла про рабочие будни сферических акушеров-гинекологов в вакууме целевой аудитории ящика с движущимися картинками. Первый канал. Прайм-тайм. Но непосредственные производители мыльных саг платят мне в разы меньше, чем московское сценарное бюро азербайджанца-посредника молдавскому гастарбайтеру от российской словесности (моему другу, между прочим, так что информация зубодавательная). Забавно. Я знаю, и всё равно работаю. Смертельно больная троюродная сестра подруги меня бы не поняла, потому как только и умеет, что считать чужие деньги. А я уважаю чужой труд. Уважаю труд вообще. Мне доставляет удовольствие наблюдать за работой по перемещению мешков с деньгами в пространственном коридоре «дверь служебного входа нацбанка – недра бронепоезда». Но я работаю, в том числе, на репутацию. Которая здесь не ценится вовсе. Иногда большое спасибо ценнее маленького рубля. Не вымри в Одессе те, кто это знал и помнил, – у одесситов был бы выбор.

Через полтора часа девочка в зелёном фартуке ставит мне на стол бутылку «Финляндии», клюквенной, но не красной.

От винницкого стола российскому столу.

Так вот ты какой, Богдан Хмельницкий! Стекланный, с изморозью, с прозрачной тягучей сорокоградусной начинкой и с бодающимися оленями на этикетке!

У оленей нет выбора. Есть рога – и надо бодаться. А мы-то чего? У нас-то есть выбор!

Какие пикейные мысли посещают мою русскую голову в одесском ирландском пабе под презентованную винницким хохлом финскую водку.

Чувствуя, что мне так просто не пережить подступающий со всех сторон космополитизм, я решаю, что самое время прогуляться по трассе здоровья.

Трасса здоровья

*Пять километров асфальта вдоль моря.
Всё для людей, если хватит здоровья!*

Впервые я столкнулась с ней лицом к лицу в самом нежном возрасте.

Мой старший брат решил заняться стендовой стрельбой. Я совсем не разбираюсь не только в автоматическом оружии, но и в стендовой стрельбе. А в пять лет и подавно не разбиралась. Даже предположить не могла, что стендовая стрельба, судя по названию, предполагающая некий стенд и, собственно, стрельбу, включает в себя десятикилометровые кроссы с забегом в «карманы», специально предназначенные для абсолютно лишённых смысла телодвижений: отжиманий, подтягиваний с немыслимыми переворотами, прыжками через врытые «по пояс» покрышки и хождений вприсядку.

Я не помню, где были родители и почему старший брат взял меня с собой на тренировку по стендовой стрельбе. Но я страшно обрадовалась. Тут же представила себе стенд с передовиками производства – такой, как у папы на работе. И в этот стенд я буду палить, по всей вероятности, из ружья. Или лучше – из мушкета. Ружья, мушкеты и пистолеты были окружены романтическим ореолом. Не знаю, откуда во мне, пятилетней, была такая милитаристская чушь. И отчего

в качестве основной мишени на стенде передовиков производства мне представлялась обрюзгшая тётка с синими веками и огромной пергидрольной «бабеттой», присаженной на пронизанную трассирующим прикорневым чернозёмом волосистую часть головы. Мне было интересно, кто она. И папа сказал, что она – начальник отдела снабжения. Я ожидала услышать что угодно: злая волшебница, ведьма, мачеха. А оказалась, что она – всего лишь начальник отдела снабжения. Разочарование соцреализма. Можно представить, каково же было моё разочарование, когда тренер по стендовой стрельбе, пренебрежительно глянувший на меня, примкнувшую к концу строя из десятка плюс-минус пятнадцатилетних подростков, сказал, что разминка, как всегда в это время года, – на трассе здоровья. И что это ужасная глупость – брать с собой маленьких детей.

- А куда я её дену? – оправдывался старший брат.
- Сдай в «лягушатник», – ответил тренер.

Я тут же перебежала из конца строя к правофланговому брату, и, крепко вцепившись в его руку, громко и нагло заявила тренеру:

- Сами идите в лягушатник! Я хочу на трассу здоровья!

Громкая и наглая я стала от страха. Лягушатник предста-

вился мне стеклянным аквариумом, набитым лягушками. Я пришла на тренировку по стендовой стрельбе вовсе не для того, чтобы сидеть в аквариуме с малоприятными созданиями. И если никаких стендов со стрельбой не предвидится, то уж лучше я пойду на трассу здоровья. «Трасса здоровья» – это красиво. Вероятно, это такая трасса, где все здоровые.

Тренер усмехнулся:

– Ладно. Твои проблемы.

Не мне, а моему брату.

А я, видимо, и была этими самыми «проблемами».

Брат кивнул. И мы все побежали. Из Мукачевского переулка по улице Белинского в Парк Шевченко. Впереди бежал тренер. За ним трусили мальчишки-подростки, казавшиеся мне тогда взрослыми дядьками. И туда-сюда, вокруг них и обратно – носилась я. Навроде «спутника» – проштрафившегося, бегающего вокруг роты на марш-броске. Они бежали небыстро и сосредоточенно, как будто решали какую-то сложную задачу. А я носилась, хохоча, потому что все они были очень смешные. И совсем не чувствовала себя проштрафившейся.

У арки Парка Шевченко – той самой, что когда-то служила въездом на дачу господина Ланжерона, – по команде тренера (а командовал он в основном свистом), все останови-

лись. И вместо того чтобы постоять спокойно, стали приседать. Чтобы не отрываться от коллектива, я делала то же самое. Тренер поглядывал на меня с подозрением. Но молча. Но мне не понравилось это его подозрение. И потому я ещё прошлась колесом. Никакого колеса у меня, как всегда, не вышло – я просто шлёпнулась на асфальт. Плашмя. И тренер аж подпрыгнул и зачем-то снова свистнул в свисток, болтающийся у него на шее.

– Когда будем стрелять? И где трасса здоровья?! – задорно выкрикнула я, вскакивая с асфальта.

– У неё локоть в крови! – побледнел тренер в моего брата.

– А, ерунда! – пропыхтел в ответ брат.

И мы все побежали дальше. К Ланжерону. Но купаться отчего-то не стали. Ерунда какая-то! Зачем бежать к морю, если не купаться?

Мы пронеслись мимо белых шаров. И бежали долго, периодически останавливаясь в тех самых «карманах», где парни отжимались, подтягивались, прыгали через покрышки, ходили впрыскалку и лазали по канатам.

– Вот обезьяна! – восхищённо присвистнул тренер безо всякого свистка.

Никаких обезьян вокруг не наблюдалось. Обезьяны в

Одессе есть. В зоопарке. Дома у некоторых моряков. Но по улицам обезьяны не ходят. Тут вам не Бразилия. Тренер говорил про обезьяну, глядя на меня.

– Сам ты обезьяна! – огрызнулась я.

Парни были кто красный, кто бледный. И все – потные. И выглядели куда хуже, чем тренер. Который постоянно мухлевал – не подтягивался, не отжимался, не прыгал через покрышки, не ходил вприсядку, не лазал по канатам и не качал пресс. А только яростно свистел в свой свисток. Я думала, что будь я не маленькой девочкой, а взрослой дядькой, как мой брат и другие ребята, ух, я бы вломила этому гнусному тренеру-мухлёвщику! Но я была маленькой девочкой – и только показала ему язык.

Мы добежали до самой Аркадии.

Я уже бывала в Аркадии с папой и с мамой. Мы часто ходили туда пешком от Шестнадцатой Станции Фонтана. Это совсем быстро. Если вдоль моря. По верху пешком – долго. Или вообще двумя трамваями. Восемнадцатым до площади Октябрьской революции, а затем пересесть на пятый – и уже только тогда до Аркадии. А пешком – совсем быстро. Куда быстрее, чем сейчас – бегом от Ланжерона.

– В Аркадии купаться не буду! – заявила я. – Тут для малышни! Хоть километр пройди – а всё по колено!

Тренер посмотрел на меня с тревогой.

– Она у тебя нормальная? – спросил он у моего задыхающегося брата, упиравшегося руками в колени.

– Да! – выдохнул брат. – Здорово – фуф! – вая! – фуф! – ло! – шадь!

– Когда мы будем стрелять?! – проорала я прямо в тренера. – Я хочу стрелять по стендам!

Тренер ничего не ответил. Он вообще был не слишком расположен к общению. Что странно. В пять лет я считала, что все люди, даже если они тренеры, крайне расположены к общению со мной, потому что я к этому самому общению ужасно располагаю. Но этот гад только опять оглушительно засвистел, и мы побежали обратно. «Побежали» – это, конечно, громко сказано, потому что тренер потрусил впереди, а парни поплелись за ним, вихляя задницами. Вприпрыжку обогнав всех, я пристроилась рядом с тренером.

– А где же трасса здоровья?!!

– Мы по ней бежим.

– Мы бежим по асфальту. А где трасса здоровья?!

– Вот! Она! Под ногами! – тренер начал выходить из себя.

Я споткнулась от очередного, слишком внезапно обру-

шившегося разочарования. И полетела, нацелившись мордой об этот самый асфальт здоровья. Тренер ахнул. И сделал рывок ко мне. Такие у них, у взрослых, рефлексy, если маленькие дети с разбегу шарахаются об асфальт. Но, подавив в себе этот инстинкт, тренер остановился. И в глазах у него загорелись дьявольские огоньки.

Ха! Я ж была умная пятилетняя девочка! Я – рефлекторно же! – выставила вперёд руки, потому при падении побились всего лишь ладони, а вовсе не морда. Я быстро вскочила, слизнула выступившую кровь и бодро изобразила на лице, что так всё было и задумано:

– Побежали! Чего стоим?!

Парни не среагировали. Они все замерли, согнувшись. И тяжело дышали. Дьявольские огоньки в глазах тренера потухли. Глаза стали круглыми и бессмысленными, как шары. И этими самыми шарами он вперился в меня, застыв в пространстве. Я подбежала к нему и вежливо прощebetала:

– Дай в свисток посвистеть!

Он снял с шеи свисток. И протянул его мне. И я ка-а-ак свистнула! И тут же вернула свисток тренеру, потому что навсегда чужое брать нельзя. Надо возвращать.

От низа канатной дороги до белых шаров Ланжерона парни и тренер шли пешком. Я успела сгонять по лестнице до продавцов билетов на канатную дорогу, чтобы узнать, почём катают пятилетних девочек. Пятилетних девочек катали бесплатно. Но только со взрослыми. За которых надо платить. Вот так вот и ущемляются права пятилетних девочек, вынужденных платить за совершенно ненужных им взрослых!

– Не гоняй. Надо остыть. Скоро будем купаться, – сказал мне тренер бесцветным голосом.

– Ура! Хотя что-то наконец делать будем! – завопила я на всю Отраду. – Не стрелять, так хоть купаться!

– Твоя сестра умеет плавать? – спросил тренер у моего брата, когда все парни снова выстроились у полосы прибоя. Я решила не тащиться в конец строя по росту, как дура, а встать рядом с правофланговым старшим братом.

– Как лошадь!

– До волнореза и обратно! – скомандовал тренер. И оглушительно свистнул.

И мы все поплыли.

– Куда! Назад! Ты куда?! Вернись! – оглушительно заорал несколько секунд спустя тренер. Но его никто не слышал. Потому что если вы никогда не заплывали до волнореза и

обратно на скорость с группой подростков, полагающих, что они плывут кролем и баттерфляем, то вы ничего не знаете о слухе над и под водой.

Не нарушая гармонии водной стихии вспениванием её руками и ногами, я спокойно плыла с виду тихоходным, элегантным брассом. И в какой-то момент этот идиот – тренер по стендовой стрельбе – выскочил прямо рядом со мной, истошно молотя по воде. И, схватив меня за хвост на макушке, перевернул на спину и потащил обратно к берегу, хотя мне оставалось обогнать всего лишь двоих парней – моего брата и ещё одного. Все остальные давно потеряли темп, потому что даже делать вид, что ты плывёшь кролем или баттерфляем, достаточно тяжело. Я брыкнула тренера ногой в живот. Но он не желал выпускать из рук мои волосы и не давал мне ни малейшей возможности вернуться к задуманному стилю и выбранному направлению. Этот подлец тащил меня от волнореза к берегу. И мне уже явно не стать победительницей! Чтобы таки успеть прийти хотя бы второй, я брыкнула его ногой пониже живота. Брат рассказывал, что там у мужчин страшно болезненные места, и если мальчики надоедают или дядьки пристают, то надо пробить с ноги ниже живота посильнее и бежать в противоположную сторону побыстрее. Тренер ойкнул и выпустил мой хвост из рук. Бежать я не могла, да мне и не надо было. Тем более что плаваю я куда лучше, чем бегаю. Бегать я терпеть не могу! Потому

я тут же нырнула, и, сделав несколько широких подводных гребков, изменила направление своего полёта в воде. Тренер очухался и снова ринулся за мной.

Брат уже вылез на волнорез. И только победоносно поднял руки вверх, чтобы ласточкой войти в воду и плыть обратно, как... Как выражение его лица стало крайне озабоченным. Дальше я не видела ничего, потому что мне надо было смыться от настигающего меня полоумного тренера по стендовой стрельбе. И я, набрав полные лёгкие воздуха, нырнула как можно глубже, решив не высываться на поверхность вод как можно дольше. И через некоторое время уткнулась головой прямо брату в живот. Мы оба вынырнули. Рядом с нами болтался фыркающий и охающий тренер.

– Что вы делаете?! – недоумевал мой старший брат.

– Он мне чуть хвост не оторвал! – пожаловалась я на тренера.

– Заткнись! – невежливо посоветовал мне ближайший кровный родственничек.

– Я... её... спасал... она... тонула! – отфыркивался багровый тренер.

– Я же вам сказал, что она умеет плавать!

– Пяти... летние... дети... так! Не плавают! Они... на мел... ководе!..

– Я не ребёнок! – вынырнула я из-за спины старшего брата.

– А кто? – выкрикнул тренер, хлопнув руками по воде.

– Я – его проблемы! – заорала я. И совершила победоносный заплыв вокруг брата и тренера.

Тренер, перевернувшись на спину и покачиваясь на волнах, взглядом покорной коровы глядел в бескрайние сентябрьские небеса. Взрослые дядьки не плачут. Особенно тренеры. Особенно – по стендовой стрельбе. Потому будем считать, что из глаз у него текла просто солёная вода.

В коридоре спорткомплекса «Динамо» так и не заплакавший тренер по стендовой стрельбе, еле волоча ноги, столкнулся с совершенно лысым дяденькой в синем спортивном костюме, со свистком на шее. «Ещё один тренер!» – подумала я, выплясывая тарантеллу вокруг своего, утопившего свисток в героической попытке спасти меня от утопления. Я цепко держала его за руку, потому что не каждый день встречаешь мужчину, готового ради спасения тебя потерять собственный свисток – этот весомый знак отличия мужчин-тренеров от простых смертных мужчин. И пусть даже ты не нуждаешься в спасении, и пусть даже он чуть не оторвал тебе твой собственный хвост – дело в его готовности тебя спасти. Я была благодарна вконец измотанному тренеру по стендовой стрельбе – и потому крепко держала его за руку, выплясывая вокруг него тарантеллу.

– Вова! – чуть не заплакал мой «спаситель» и положил свободную от меня руку на плечо совершенно лысому дяденьке в синем спортивном костюме, со свистком на шее. Несвободную от меня руку ему вырвать не удалось. Иначе бы он обнял совершенно лысого дяденьку. – Вова! Посмотри... Эту... – он обессилено замолчал. И вроде даже задумчиво. И наконец выдавил: – Девочку.

– Я с такой мелюзгой не работаю! Отправь её к Вике в «лягушатник», – кинув на меня мимолётный презрительный взгляд, процедил совершенно лысый Вова, которого я тут же за этот взгляд возненавидела. – Я набираю восьмилеток.

В глазах моего изнемогающего от предыдущих нескольких часов жизни тренера по стендовой стрельбе загорелись дьявольские огоньки. И собрав остатки воли в кулак, он настойчиво и грозно сказал совершенно лысому Вове:

– Посмотри.

Вот так вот – даже без восклицательного знака сказал. Но совершенно лысый Вова отчего-то посмотрел на меня ещё раз. Внимательно. Затем он внимательно посмотрел на тренера по стендовой стрельбе.

– Она пробежала десять километров. С моей старшей группой. И доплыла до волнореза и обратно. Она плавает,

как тюлень. Нырять – и нет её. Никакой техники. Вначале я её спасал, потом она устроила истерику, что я ей всё испортил – и всё равно доплыла. Туда. И обратно.

– Вова, ты лысый, чтобы тебя никто в воде за хвост не мог схватить? – спросила я.

– Не ты, а вы. И не Вова, а Владимир Георгиевич, – не уступил мне в наглости совершенно лысый Вова.

– Там... Там где-то её старший брат, – прошептал вконец опустошённый переживаниями тренер по стендовой стрельбе и вырвал из моей ладони свою руку. И тут же меня за руку взял Владимир Георгиевич. Или я его. Не помню, кто первый это сделал. Тренер по стендовой стрельбе похлопал совершенно лысого Вову по плечу, поцеловал меня в макушку и пошёл. Отойдя от нас на пяток шагов, он обернулся и потряс сцепленными в замок и воздетыми над головой руками. После чего ушёл, не оглядываясь.

– Какой-то он странный, – констатировала я.

– И не говори! – поддержал меня Владимир Георгиевич. – Ну что, идём в бассейн, поплаваем?

– Слава богу! Вы знаешь, – вежливо сказала я, – я очень не люблю бегать. Терпеть не могу.

– А с ними зачем бегала? – мотнул головой Владимир Георгиевич в сторону ушедшего тренера по стендовой стрельбе.

– За здоровьем! – с готовностью откликнулась я.

– А не пройтись ли нам по трассе здоровья! – сказала я как-то раз октябрьским днём своему мужу, когда вместе с ним снова была в этом городе.

– Идём! – радостно согласился мой муж.

И мы пошли.

Мы шли по Дерибасовской. Затем мы шли по Пушкинской. И снова шли – по Бунина. Немножко по Канатной. И чуть-чуть – по Маразлиевской. И свернули на Суворовскую аллею.

– Это Парк Шевченко!

– Ага. Мы с тобою здесь не раз уже были.

– А где трасса здоровья?

– Подожди. Сейчас всё будет! – сказала я. – Но надо присесть и выпить.

Как доверчивы любящие мужчины! Лик мужа был ясен и светел. Мы пили текилу с видом на порт, и мир моего самца был спокоен и безмятежен. Стадион ЧМП³. Памятник Неизвестному Матросу. Памятником самим себе – живая компо-

³ ЧМП – Черноморское Морское Пароходство.

зиция «Вечные Бездомные Собаки», на которых плевать тем, за кого голосуют балконы.

Ланжерон.

Ох уж этот Ланжерон! Как меня подставили корректоры первого издания «Большой Собаки», исправив одесского градоначальника Ланжерона на технический термин «л~~он~~жерон», означающий основной силовой элемент конструкции. (Или то они вложили в правку фамилии одесского градоначальника сакральный смысл, ускользающий от простых смертных не-корректоров?) Как я подставила сама себя, невнимательно вычитав вёрстку, поскольку тогда ещё доверяла корректорам и ответственным выпускающим редакторам! А между тем фамилия храброго генерала, большого балагура, доброго и правдивого, хотя и рассеянного человека, не имеет ничего общего со значением слова «л~~он~~жерон» ни в русском, ни во французском языках. Кстати, о космополитизме и малости шарика нашего совместного проживания: в юности Ланжерон сражался за независимость североамериканских штатов. Позже – участвовал в войне 1812 года сами знаете кого с кем. Умер в Петербурге. От холеры. Как будто ему одесской холеры было мало, чтобы умереть! (К слову, о мистике: всю жизнь Ланжерон *очень боялся умереть от холеры.*) Как и сменивший его на посту градоначальника и губернатора Новороссийского края Воронцов, Ланжерон завещал похоронить себя в Одессе. Прах Воронцова спасли евреи, а останки Ланжерона... Из того Успенского храма

божьего, где был погребён Ланжерон, при советской власти устроили... спортзал. Впрочем, ему, полагаю, уже всё равно на власти и на корректоров. Ланжерон давно сошёл с трассы.

— У Ланжерона было три официальных жены. И двое внебрачных детей от одной польки. А один из этих внебрачных детей женился на даме, которая отказала Пушкину.

— Три жены? Двое внебрачных детей? А ты говоришь...

Моему мужу дорого его здоровье, поэтому он не продолжает. Только смеётся.

— Ланжерон основал Решильевский лицей. Вторым в России после Царскосельского.

— И что это ему дало?

— Ничего.

— А что это дало городу?

— Тогда или сейчас?

— Вообще.

— Ничего.

— Тебе не нравится этот город.

— Какое свежее наблюдение!

И по глотку текилы с видом на белые шары Ланжерона.

— Ланжерон читал Пушкину свои стихи. И пьесы.

– И что Пушкин?

– Пушкин был мерзавец и сноб. Кого он тут, в Одессе, только не попользовал. Как та троюродная сестра нашей подруги.

– А Ланжерон?

– А Ланжерон был графоман. Что не помешало Пушкину...

– Все писаки сволочи. Ты – не исключение.

– Как лучше умереть? От холеры или как настоящий ниггер – в уличной перестрелке?

– Лучше умереть, как Чехов. Или Бунин.

– В любом случае, мы все умрём. Достаточно скоро.

– Я в курсе. Пошли уже по твоей трассе здоровья. Может, удастся хоть немного отсрочить?

– Или ускорить.

– Не важно. Сегодня дороги выбирают нас.

Отрада.

– Скоро конец? – спрашивает муж.

– Здоровью?

– Трассе.

– Ты же хотел отсрочить!

Он приподнимает бутылку текилы – прикидывает коэффициент отсрочки. Я смеюсь.

Канатная дорога не работает. Не сезон. И что мне ему ответить? «Это, родной, только начало!»? Вот так нагло – этому бугаю с вытатуированной на предплечье акулой? Моему мужу, единожды официально женатому и не имеющему внебрачных... Тут нельзя сказать наверняка, и я ничего не хочу об этом знать. Есть вещи, о которых нам знать ничего не надо, потому что просто не надо. Я когда-то не знала, что это за такая трасса здоровья, и ему не надо этого знать.

По текиле с видом на источенный временем огромный прибрежный валун-ракушняк.

В детстве мне казалось, что он незыблем, как вечность. Что он был всегда и будет всегда. Но он... Что же со мной? Он – камень! Он просто обязан жить вечно. То есть как минимум больше тысячи лет. А он источен, обтёсан волной и кедами туристов. И на меня обрушивается экзистенциальный мрак. Что же тогда со мной, если с ним – такое...

– Стой! – кричу мужу.

Он застывает, как вкопанный.

– Это же ракушняк! Известняк. Из него половина Одессы построена! То есть – вся старая. Это что же – вся старая Одесса так?! Все вот эти, прости господи, «неповторимые архитектурные ансамбли» центра города?!

– Расслабься, – говорит мне муж, озирая окрестные склоны, на которых понатыкано бетонных громадин. – Или ты всерьёз хочешь порассуждать о глупости, жадности и о цикличности времени?

– Если такое с ним, с незыблемым маяком моего бесконечного детства...

– Всё бесконечно. Ничто не вечно... Надеюсь, что и твоя трасса здоровья тоже.

Ненадолго обрушившийся мрак рассеивается. Под очередную порцию текилы. После чего из нашей заплечной сумы извлекается банка икры и французская луковая булка. Садимся на бровку бетонного ограждения пляжа. Текила, банка икры и французская булка почти примиряют меня с неизбежностью конца. Муж задирает вверх указательный палец и жестом фокусника извлекает на свет пластиковый контейнер с греческими маслинами – размером с греческий же орех. Всё. Моё примирение с неизбежным концом – окончательно.

Перекусываем, болтая ногами и наблюдая чаек.

Разносортные морские пернатые прочёсывают территорию пляжа. Она отнюдь не пустынна. Вот на подстилке примостились три одинокие феи. Они не смотрят в море. Они оглядывают окрестный песок в поисках подходящих самцов. Чаек обоих полов интересуется только и только еда. Маленькая серенькая птичка бродит кромкой прибоя. Ходит. На-

клоняется. Тюкает клювом. Проглатывает. Раздражается противным криком в одинокого пса, бегущего по влажной полосе песка. Отлетает. Возвращается. На людей вовсе не реагирует. Огромная белая птица приземляется посреди пляжа, издавая оглушительный визг. И серые, и белые, и маленькие, и большие – расходятся и разлетаются в разные стороны. Но недалеко. Язык их пернатых тел понятен: «Опять эта чокнутая принеслась, блин! Щас всё наломает!» На фоне этих галдящих индюшек обычно высокомерные вороны выглядят неуверенными первокурсниками перед зимней сессией. Но только выглядят. Хитрюги. Своего не упустят!

Начинаешь понимать Хичкока.

Бетонный мол яхт-клуба.

Пляж Дельфин.

Санаторий имени Чкалова.

Бегуны. Велосипедисты. Роллеры.

Трасса здоровья весьма оживленна и востребована. Спортивное снаряжение модное. Велосипеды – горные, со светодиодными фарами и мигалками. Изредка проносятся трековые – с влитыми в них всадниками в обтягивающих костюмах. Ролики – на силиконовых колёсиках. Напульсники. Наколенники. Шлемы. Здоровье на трассе нынче надёжно защищено. Никакого удовольствия от мордой об асфальт. И не скучно, опять же, – наушники тянутся к айфону. Надёжно. Красиво. Современно. Глаз радуется!

– Устала? Может, хочешь присесть? – кивает на скамейку под оливой.

Я? Устала?! Нет, я не устала. Но не настолько глупа, чтобы отречься от мужниной заботы. А то вот так вот будешь говорить: «Шо я, сама себе не закажу?!» – так и дождёшься, что только сама себе и будешь заказывать. Так что я не устала. Но я присяду на скамейку.

Поворачиваем к ближайшей. На ней белой масляной краской написано: «ЗАЧЕМ». Вот так – без знака вопроса. Эдакое меланхолично-философское «зачем». Смеёмся. Чья-то горькая самоирония забавляет. По глоточку – и идём дальше.

Темнеет.

– Ты не устала?

– Нет.

– Ты не устала?

– Нет.

– Ты не...

– Если я скажу тебе, что я устала, что изменится?

Он знает, что я никогда не скажу, что я устала, если от этого ничего не изменится. В хорошую сторону. В плохую может измениться его настроение. Даже будучи маленькой

девочкой, я не портила взрослым дядям настроение. Как минимум – своей усталостью. Всё остальное – проблемы взрослых дядь.

По левому борту возникает какая-то чумовая стройка. У самого синего в мире. И даже прямо по колено в нём. Устрашающих размеров железобетонный каркас будущего монстра под названием «элитный многоквартирный дом». Элитные дома многоквартирными не бывают. Как и хороший кофе – растворимым. Впрочем, и таунхаусы я не нахожу «элитной» формой жилья. Что это вообще – «элитное жильё»? Есть дом. И есть – всё остальное. Дом может быть даже избышкой. Хотя, конечно, лучше особняком на Лазурном берегу. В первом ряду. Но то, что натворили с одесским побережьем, не вписывается ни в какие нормы и правила. Начиная от архитектурных и заканчивая общечеловеческими. Вернее сказать: начиная с общечеловеческих и заканчивая... Чем заканчивать-то, если начинали не с того?

Наверное, я всегда была ужасной занудой, потому и тренер по стендовой стрельбе так от меня устал когда-то давно. И муж вот теперь тревожится, не устала ли я?.. От собственного занудства разве что.

– Ты бы стал жить в таком доме?

– Ну...

– Я – нет.

– Ты бы не стала жить в Одессе.

– Так я тут и не живу. ... Это здание загораживает вид на море.

– И обратно.

– Да. Оно загораживает вид на море и обратно. Раньше здесь были пустынные пляжи санаториев. Метеорологические и биологические станции. Обрыв ботанического сада был увенчан пограничной будкой и...

– Это диалектика, детка. Тому, кто бродил здесь сорокалетний, когда ты малолетством брала на измор уставших от жизни мужиков...

– Всего лишь тренеров. По стендовой стрельбе.

– ... брала на измор уставших от жизни тренеров по стендовой стрельбе, не нравилась пограничная будка, венчающая обрыв.

Со стройки, некогда бывшей метео– или биологической станцией, выскакивает мужик.

– Закурить не найдётся?

Смотрим на мужика. Он – то на нас, то навверх. Мол... Ну да. Мы понимаем.

– На работе задержался, – извиняется. – А курить!.. – снова смотрит навверх.

Муж протягивает ему открытую почти полную пачку. Тот берёт.

– А можно две?

– Оставьте! – муж машет рукой, мы разворачиваемся и уходим, не дожидаясь велеречивых расшаркиваний, номинальной благодарности и, возможно, небезынтересных рассказов о чьей-то жизни.

– Спасибо! – нам вслед.

Не надо жадничать. И заставлять уставшего мужика, задержавшегося на работе, гонять ещё и «наверх», за сигаретами. Курить он явно не бросит. Зачем? А вот работу...

Внезапно становится легко и забавно. Да и хрен с ним. Не с мужиком. С бетонным монстром по колено в море. Остаётся только молиться, чтобы обрыв, ныне увенчанный разнообразной роднёй монстра, не обрушился на своего собрата-переростка, уничтожившего пару-тройку пляжей и исследовательских станций. Нечего исследовать. И некогда молиться. Быстро темнеет. А до конца трассы здоровья надо дойти.

Молодая мамаша толкает в гору коляску. Пыхтит.

– Ты не устала?

Хочется стукнуть мужа. Моего. Потому что муж дамы, толкающей в гору коляску, таки присел на скамейку. С пивом.

– По глоточку?

Хитрый лис. Знает, чем соблазнить. Текилы ночью из горла на трассе здоровья – самое оно!

Мимо проезжают велосипеды, вспыхивая многоцветьем сигнальных огоньков и тут же растворяясь во мраке. Проносятся роллеры в должной экипировке. И целеустремлённо таранят пространство бегуны. Проезжает электрический мини-автобус...

– Смотри, он по маршруту «Ланжерон-Аркадия»! А мы как...

– Мы – идейные!

– Да? И в чём идея?

– Дойти!

– Где уже эта Аркадия?

– Скоро!

– Тридцать третьему «скоро» веришь уже не так, как первым трём.

– А ты верь.

– Ладно. В конце концов, идея была не в «скоро».

– Вот именно. Смотри, вон «Глечик»! Мы с тобой здесь

были.

– Да?!

Ресторан «Глечик». Как он выжил? Он тут был даже тогда.
В пять.

– Да это был совковый шик! Не такой, конечно же, как крыша Морвокзала. Но всё-таки...

– Да-да. Что-то припоминаю...

– А потом открыли «Лобстер». На повышенную стипендию можно было выпить чашечку кофе.

– Такая низенькая была повышенная стипендия?

– Такой дорогой был кофе. Плюс инфляция. И вообще – время интересное. Сам знаешь, ты же ровесник «Глечика»!
Причём буквально. Его открыли как раз в 1969 году.

– Знаю. Но было интересно услышать от тебя.

– Ты думаешь, что я не помню, как вся страна жила на зарплату в сто сорок рэ, когда доллар был уже за тридцатку? Или что прохвосты – будущие коммерсанты – выкручивали по три-четыре тысячи, а за четвертак можно было кататься на такси сутки напролёт? Или ты не веришь, что я пила кофе в «Лобстере» на свою стипендию?

– На свою? Нет. Не верю.

– «Это ещё в школе было!»

– «Вот видишь...»

– Противный!

– Хочешь, зайдём?

– В «Глечик»? Не-е. Боюсь ощутить себя промозглой старухой!

– Ты не устала?

– Я. Хочу. Пить.

– И как скоро Аркадия?

Трасса здоровья совершенно не изменилась. До Аркадии пить тут и сейчас нечего. Но страдать из-за этого почему-то не хочется.

– Всю повышенную стипендию бы отдала за бутылку минералки! ... Эй, гражданин! Угостите водичкой!

Только быстрее крутит педали. Вот сука! И кто сказал, что есть бог и надо молиться? Мы же угостили задержавшегося на работе мужика сигаретами!.. Вот то-то и оно. Нет никаких взаимозачётов. А бог, если и есть – то он не система взаимозачётов. И уж точно не завхоз колбасно-бумажного склада.

Впереди начинают брезжить огоньки. Стемнело, как всегда, не только рано, но и густо. И в этой топлёной плотной ночи огоньки пробегают, проносятся, проезжают мимо. И затухают вдали. Или мерцают. Тут свет никогда не с тобой. Он или мимо, или где-то там – «скоро».

– Перекурим?

Хорошая, вовремя заправленная зажигалка – и свет всегда с тобой.

– Мы с тобой как два изношенных философа.

– Два потрёпанных апостола.

– Апостола?! Ну у тебя и самомнение, ровесник «Глечика»!

– Апостолы – всего лишь люди. Всего лишь люди, бредущие, как идиоты, от огня к огню.

– Несущие свет.

– Скорее просто остающиеся в живых от света до света.

– Всё так банально?

– Объективно да. Ну... или у них с собой было!

Щёлкает зажигалкой. Протягивает бутылку.

Умеет меня развеселить. Всегда умел. И пусть «Глечик» стоит как можно дольше! Должно же быть что-то вечное в этом переменчивом ветреном городе, где свет никогда не с тобой, пока ты до него не дотопаешь. Портовые краны, чайки, «Глечик»...

– А-а-а! Аркадия!

Асфальт здоровья заканчивается. Навстречу, со стороны

вяло угасающих летних веранд Аркадии, привычно вздыбливается асфальт неизбежности. Блеск и нищета. Блеск мишуры и её же нищета. И странные персонажи, каковыми они всегда бывают на последнем издыхании бархатного сезона. Когда пляжники уже не пляжники, а без пяти минут канты. Когда приезжих с Винницкой области по нетленным курсовкам не отличишь от престарелых пересыпских жиголо начала развала-передела. Когда индустрия прибрежного развлечения напоминает так и не выброшенную к первому мая ёлку.

– Мы одолели трассу здоровья!

– Мне кажется, что мы одолели не трассу, а само здоровье!

– Ты устал?

Вот оно! Наконец-то! Месть сладка!

– От преодолимого не устают. Эйфория превозмогания – химия покруче адреналина. Только непреодолимое может заставить кого-то из нас опустить руки.

– Да ладно! А море?

– Пока ты на берегу – та же эйфория. Но... «что будет значить тысяча слов...»

– «...когда важна будет крепость руки».

– Вот именно.

– Всё равно! Чтобы ни происходило на берегу, пока бог

не решит, что хватит – всё преодолимо!

– Думаешь, богу пока не хватает тех «элитных» бетонных монстров? Или людей, которые там поселятся, свято веря, что «элита» – это про них?

– Хочется верить.

– К сожалению, это вопрос не веры, а сроков.

– Значит, никакой веры?

– Никаких религий.

– Особенно – религий «элитного жилья»?

– В том числе. И хватит демагогии. Ты хотела пить.

– Я не хотела. Я – хочу!

– Отлично! Побежали!

– Почему побежали?

– Потому что ты так любишь погружаться в свои глупые мысли, что не видишь дальше собственных глупых мыслей!

– В смысле?

– Видишь, вон там, тётка, торгующая свежавыжатыми соками в этой осенней ночи, уже сворачивает свою лавку.

И мы действительно побежали. Это было так же не сложно, как не сложно было в пять лет. Бежать просто, когда есть то, что тебя манит. Беззаветная ли щенячья радость от всемогущества собственного пятилетнего тела, или просто жажда. Жажда – это просто. Простота жажды заключается в том, что её надо утолять.

- Ананасовый фреш, пожалуйста.
- Ананасового нет.
- Какой есть?
- Там всё написано!

Ну почему одесские тётки всегда недовольны?! Они всегда недовольны именно тобой. «Там всё написано!» Вдруг я слепая? Или не умею читать? Почему весёлому афроеврею, торговавшему соками в Яффо, было нетрудно мне на трёх языках – английском, русском и иврите – рассказать, какие у него есть соки!

Муж смотрит на тётку. Разумеется, я не способна действовать на тёток подобным образом. Во всяком случае – не на одесских. Я всё ещё та самая – «сама такая». Одесская. Променившая колбасу этого города на множество колбас множества других городов мира. Я – космополит. Тут это не одобряется. Я тётка, предавшая своё племя. Тётка, предавшая племя одесских тёток. Я – изгой. Медвежонок-шатун.

- Эй, изгой! Грейпфрутовый будешь?!
- Буду!.. Ты, что, слышишь мои мысли?
- Не слышу. Читаю. Они все написаны у тебя на лбу! Два двойных грейпфрутовых. – Последнее уже тётке.

С ним она мила. Ему она улыбается. Он не предавал её племя. Ну, разве что подобрал и приручив изгоя-шатуна, но-

сившегося когда-то по этой трассе здоровья на правах здесь рождённого.

Пью сок. Неужели нельзя держать грейпфруты в холодильнике? И почему я вечно недовольна?

– Ты устала.

Не спрашивает. Улыбается. Всё, что нужно любой тётке – это констатация факта. Нежность. Улыбка. Вот он, универсальный рецепт – как медвежонку-шатуну не оказаться сразу в племени тёток, минуя столь, казалось бы, банальную, сколь и недостижимую фазу «счастливая женщина». Молча, мелкими глотками, смакую тёплое счастье. Как те грейпфруты, что разомлели на всё ещё ярком октябрьскими днями одесском солнце.

Из-за угла выныривает электрический мини-автобус и нехотя уползает во мрак трассы здоровья, в сторону Ланжерона. Откуда мы только пришли.

– Они ещё ходят?! – Меня вдруг охватывает идея с лёгким пренебрежением к пешему ходу прошелестеть обратно до белых шаров на колёсах, бросая взгляды на скамейки и оливы, где мы останавливались перекурить.

– Ой, да шо ж вы раньше не сказали, шо они вам надо?! Я бы Вите крикнула. А так всё – последний ушёл. Уже одинна-

дцать. – Это продавщица. Искренне расстраивается вместе со мной. Такая автоматическая сезонная искренность. Мы не сказали. А она не крикнула Вите. Хотя, бог свидетель, она бы крикнула. Если бы мы сказали, разумеется. Такие дела.

Неужели уже одиннадцать?!

– Уже одиннадцать, представляешь?! Раньше эту трассу...

– Не расстраивайся. По трассе воспоминаний два раза подряд, да ещё и в противоположных направлениях – это, знаешь ли, надо обладать. Хотя... если с разными скоростями... Применима ли в данном случае общая теория относительности, или следует ограничиться специальной, как думаешь?

Он очень хорошо меня знает. И он точно знает, что если мне задать вопрос с подковыркой и в конце добавить «как думаешь?», то смена декораций пройдёт безболезненно. Но и я за столько лет, наконец, научилась знать, что он знает. И зачем мне это, спрашивается? Оставалась бы себе просто счастливой женщиной. От многих знаний вовсе не многие печали. А только занудство. Вот такая я на самом деле – счастливая женщина-зануда.

– Ты не понимаешь! Я просто хотела прошелестеть...

– Незаметной пушинкой в обратном направлении над

пешим ходом собственных воспоминаний до белых шаров Ланжерона. Ричард Бах. Классика жанра.

– Ты – зануда!

– Мне положено. Я – мужчина. А значит – будущий де-душка. А все дедушки...

– Прекрати! И всё равно у нас была икра и чайки!

– И «Глечик» с греческими маслинами.

– И санаторий имени Чкалова под сигаретку.

– И дорожный кофе, который ты когда-то пила без меня.

– И непреодолимое море.

– Его непреодолимая притягательность, я бы сказал...

– И даже...

– Однозначно. Он всегда с нами. Ему, конечно, на нас наплевать. Но у него просто нет выбора. Неизбежность – способ существования этого мира. А Одессу бог, похоже, выбрал символом этой неизбежности. Что, впрочем, его не оправдывает. С автобусом для моей деточки мог бы и подсуетиться...

– А вы не отвезёте нас на Ланжерон?

Какие-то люди. Спрашивают у нас за спиной уставшего мужика, чуть ли не руками закатывающего на ночную стоянку последний электромобильчик, еле ползущий на разряженном аккумуляторе.

– Мы уже закончили. И вас всего двое...

– Нас четверо!

Это уже мой муж. Не отрываясь от сока. Вот ведь реакция!
Как ждал.

Уставший мужик сдаётся. Кому мешала пара сотен гривен поздним осенним вечером? Вот так-то оно и есть. Бог – не Тимошка.

Затем у мужика, как и положено, не находится сдачи, и он разменивает у грейпфрутовой тётки. Потом загоняет уставший электроавтобус и выгоняет другой. Заряженный. Бодрый. После чего мы все садимся.

Мы не искупались в Аркадии. Традиционно. Но это не важно.

И то, что наши попутчики едут на Ланжерон не к Ланжерону, а к очередному кабаку, который гораздо моложе «Глечика» – эдакая забавная псевдоукраинская харчевня, бывшая поначалу блядским ментовско-эсбэушным домом, – тоже не важно.

Как совершенно не важен тот факт, что кофе в «Лобстере» мне давно по карману. По собственному. И не важно то, что с моря тянет прохладный октябрьский ветер. И что мужик за штурвалом своего космического самоката молчит. И что запоздалые, редкие в этом густом мраке, бегуны шаркаются в сторону и смотрят вслед оленячьими глазами... Всё

не важно.

Просто хорошо.

* * *

Чувствуя, что мне так просто не пережить подступающий со всех сторон космополитизм, я решаю, что самое время прогуляться по трассе здоровья.

До скорого свидания, ирландский паб на Дерибасовской. Буквально – до завтра.

Дерибасовская. Пушкинская. Бунина. Канатная. Суворовская аллея.

Есть масса других маршрутов, но я иду именно так. Зачем? Неужели затем, чтобы увидеть, что в «Лобстере» всё те же недобитые деловые? Почему я выхожу из парка Шевченко через ту арку, куда въезжал Ланжерон, а вхожу всегда именно здесь? Всегда с тех пор, как я уже давным-давно распрощалась со спортивным комплексом «Динамо». Я замыкаю круги. Бегом. Пешком. На электрическом мини-автобусе. Я замыкаю круги. И создаю новые. И снова замыкаю. Или мне только кажется, что замыкаю? А на самом деле это не круги. Всё это – спираль. Но для того чтобы увидеть, что они незамкнутые, надо сыграть масштабом. Но как можно играть масштабом, просто топая по мостовой? Всё такой же вздыбленной асфальтовой мостовой, лишь изредка прерываемой брусчаткой, которой уже почти не осталось в этом городе.

Я дохожу до Ланжерона. Неужели я, взаправду, пойду по трассе здоровья? Опять и опять?

Сажусь на скамейку под дельфинарием.

Я не люблю ходить в дельфинарии. И в зоопарки. И в цирки. Глупо смотреть на дельфинов, прыгающих через кольца в небольшом бассейне. Тоже мне достижение! У них просто нет выбора. Как и ни у кого в этом городе. А у животных так и вообще – повсеместно. Бассейн должен быть большим. Бассейн должен быть морем. А вольер – лесом или саванной. Дельфины не прыгают через кольца в море. Львы не покрываются струпьями пролежней в саванне. А я не пойду сегодня по трассе здоровья.

Я сижу под дельфинарием и смотрю на фонтаны. Очень красиво. На Ланжероне строят Набережную. Наверное, это очень хорошо. Наверняка. Я сижу, смотрю на подсвеченные фонтаны. Они без чаш. Сопла просто торчат из мощёной, с еле заметным глазу уклоном, плитки. Забавная идея. Вода пресная. Иначе бы тут уже были круговые наслоения морской соли. Надо попробовать. Но я не иду. Сижу и смотрю. Зрелище не завораживает. Зрелище гипнотизирует. Меня. Зрелище фонтанов приводит меня к созерцанию собственной памяти.

Мало кто знает, что главное достоинство лошадей – вовсе не сила. Хотя и измеряют её, силу, в лошадях. Исторически. С тех самых пор, как железный конь пришёл на смену крестьянской лошадке. Но лошади – не сильные. Лошади – вы-

носливые. И это уже не память. Это – опыт.

Стеновая стрельба – занятие бессмысленное. И как любое бессмысленное занятие, она обретает смысл лишь тогда, когда ты занимаешься ею достаточно долго. Занимаясь бессмысленным достаточно долго, приобретаешь навык. Навык нужен для того, чтобы выжить. Если вам настолько не повезло, что вам надо выживать. Или настолько повезло. «Повезло» – это уже память. После того навыка, что помог выжить в случае «не повезло».

Но всё это рассеивается – и остаётся лишь красота фонтанов. Вот уж что действительно бессмысленно. Если не считать красоты. Возможно, красота – она и есть главный смысл всего с нами происходящего. Красота выживания. Красота выносливости. Красота памяти. Красота фонтанов Ланжерона.

Не знаю, сколько я тут сижу. Уже стемнело. Я встаю. Иду к берегу моря. Октябрь уж наступил. Людей нет. Есть я, море и ночь. Я плыву до волнореза и обратно. Никакой техники. Я плыву, как тюлень. И стороннему наблюдателю может показаться, что я ныряю и вынырываю. Но сама я – между. Сторонний наблюдатель видит, что я не тюлень, а человек. Поэтому ему кажется, что я – тону. Но нет сторонних наблюдателей. Поэтому я просто плыву. Плыву до волнореза и обратно. И окончательно понимаю, что для того, чтобы плыть – техника не нужна. Для того чтобы плыть – надо просто плыть. Но для понимания этого надо не раз пройти одними и теми

же и многими другими трассами, надо изучить особенности множества техник. Надо, надо, надо... Не будь необходимости пройти эти «надо», не будь пройдены эти «надо», в сухом остатке не было бы этого «плыть». Но какой смысл плыть в сухом остатке? Это очень глупо – плыть в сухом остатке. Я же не даос. Хлопок одной ладонью – это я не умею. Разве что друга по плечу. А с другой стороны – ну, глупо, ну и что? Не бывает здоровья без трасс. Не бывает ума без глупости. Не бывает моря без берегов. Не бывает Ланжерона без белых шаров. Не бывает Дюка без Потёмкинской лестницы. Не бывает Ильфа и Петрова без Катаева. Не бывает гордости без предубеждения. И не бывает Двенадцатой Фонтана без Четырнадцатой.

На тринадцатой фонтана

– На Четырнадцатой Фонтана собирались студенты. На Двенадцатой – пролетариат. Они напивались – и встречались на Тринадцатой. Всегда напивались. И иногда встречались.

– И?

– И студенты побеждали.

– Всегда верил в студентов.

– А я никогда не верила в пролетариат.

– Это не одно и то же?

– Отнюдь.

– Ты в детстве нам всю голову проела «Окаянными днями», Бунинным и что нет без «нет» такого слова – «отнюдь»!

– Какими вы стали занудами!

– Мы?! – хором.

Если всю ночь хором мотаться по Фонтану, напиться в Аркадии, оказаться на Ланжероне и закончить путешествие в Лузановке, то...

То на следующий день оказываешься снова на Фонтане. Так уж вышло, что Аркадия и Ланжерон – это детство и юность; Лузановка – только юность. А Фонтан – это всё. Это всё, от чего хочется когда-нибудь навсегда уйти. И это всё, что никогда не отпускает.

– Что они сделали с ахматовской скамейкой!

– Мемориализировали.

– Странно, что остался этот каба́к на Двенадцатой. И очень жаль, что снесли стекляшку на Четырнадцатой. Столько воспоминаний, столько...

– Столько?

– Столько друзей.

Нет никаких друзей. Если долго смотреть друг другу в глаза, понимаешь, что никаких друзей нет. Даже если вот только что, буквально сегодня, безо всяких мук родившегося из вчера, понимаешь, что никаких друзей нет. Человек одинок. Но даже осознающие и принимающие своё одиночество стремятся к этому. К друзьям.

– К этим.

– Что?

– Зайдём к этим.

– Зайдём. Дальше всё равно никого нет. То есть – наверняка есть. Но боюсь загадывать. И так топаем от Шестнадцатой. И Четырнадцатую раскатали. Так что зайдём к этим.

– А чего у них так пусто-то?

– Осень. И не пусто, а одиноко. Значит – уютно. С видом на море. Раньше пеньки стояли. Обыкновенная пивнуха была. А сейчас – красота. Столики. Навесы. Мы всегда шли в стекляшку на Четырнадцатой. После пляжа Тринадцатой.

Но иногда оказывались здесь.

– Логично.

– Издеваешься?

– Нет.

– Издеваешься!

– Да нет! Совершенно серьёзно утверждаю, что если раз от раза повторять один и тот же маршрут, то рано или поздно окажешься в другом месте.

– Но посередине между «всегда» и «иногда» – непременно должна быть Тринадцатая!

Переползаем дорогу по зебре. Раньше не было никаких зебр в этом месте. Да и улочки были поуже. Дома поскромнее. И только обрыв над морем всё тот же, как его фантиками «маркиз» и кованых решёток не огораживай. И козы всё те же. Козы забавнее коров. Коровы равнодушны. Козы – любопытны. Любознательны. И ещё – козы могут бродить по склонам. Могут и любят. То есть любят и, наверное, поэтому могут.

– У нас в студенческой компании был женатый парень. Единственный женатый. Такой, знаете ли, еврейский брак. Мамы и папы с двух сторон распорядились. И Боря женился чуть не в восемнадцать.

– Маменькин сынок?

– Отнюдь нет!

– Еврей – и отнюдь?..

– Ага. Называл жену ласково: моя корова. Ирка не любила ходить на Тринадцатую. Загорала, не отходя от крыши двухэтажной дачи. По тем временам – страшный шик.

– А купалась, не отходя от корыта?

– Что-то вроде того. Вот она была классическая еврейская девочка.

– Такая интеллигентная?

– Классическая одесская еврейская девочка.

– Есть разница с классической московской еврейской девочкой?

– Колоссальная! Особенно если учесть, что никакой классической московской еврейской девочки не существует, а одесская – таки да.

Уже минут десять сидим за столиком на большой открытой террасе, мощённой плиткой лет пятьдесят назад. Но, кроме котов, к нам никто не подходит. Оборачиваемся. Привлекаем к себе внимание. Подплывает недовольная девица. Смотрит на нас с претензией. Улыбаемся. Молчит. Переглядываемся. Молчит. Всем своим видом даёт понять, что если это кафе тут для чего и существует, то вовсе не для того, чтобы обслуживать посетителей. Первое рациональное желание встать и уйти проскальзывает незамеченным. Не-ет! Теперь мы точно отсюда не уйдём. Здесь, под сенью акаций, притаилось что-то эйнштейновское. Колоссальная драматургия в

условиях относительного пространства-времени. И девочка тут всё та же, что и... Нет, ну она, может быть, дочка той девочки. Или тут, что для меня – десятилетия, для них – поворот головы.

Поворачивает голову. Кивает куда-то за спину:

- У нас банкет.
- Так вы не работаете?
- Работаем. Но надо ждать.
- Чего?

Молчит. В её мире – это глупый вопрос.

- Долго?
- Не знаю. Повара заняты. Надо ждать.

Строго, категорично, но как с другой планеты. Ладно. Попробуем на доступном диалекте:

- Принесите пока водки. Три по сто... Нет, лучше три по двести!

Потому что когда надо ждать столько, сколько надо – этого таки надо как-нибудь дожидаться.

- И зелёный чай, девушка. И три ухи. И три салата из ми-

дий. Три порции бычков и...

Чуть пива не заказали, ей богу! Бойтесь чёрных дыр подсознания, дары подносящих!

– Всё?

Девушка-инопланетянка медленно уплывает.

Нас трое, и мы сидим за столиком кафе на Двенадцатой, потому что кафе на Четырнадцатой развалили. Из нас троих двое знают о кафе на Четырнадцатой. И я одна знаю о кафе на Двенадцатой. Третий знает очень много всего, но не об этом. Почему мы сидим здесь, такие разношёрстные трое? Потому что мы друзья. Которых на самом деле не бывает. Дружба – это такая игра, придуманная людьми. Вроде покера. В дружбе тоже важен блеф. Ну или бросай карты и вставай из-за стола. Но иногда же забавно. Даже если ты не игрок. Вот сегодня, на Двенадцатой Фонтана, мы играем в осень на море, в голод, в выпить на троих, в воспоминания о детстве и юности. В дружбу, в общем. Ставки у нас копеечные. Мы не профессиональные игроки. Игра для нас не жизнь. И не работа. А всего лишь приятное времяпровождение под три по двести в ожидании ухи, мидий и бычков.

Из стекляшки выносится нервный официант с подносом. Уже издали видно, что нервный. Нервический. Недоволь-

ный. Вблалмошный. Мы его раздражаем. Все вместе на троих взятые и каждый из нас по отдельности. Если мимо него сейчас пролетит птичка – он бросит поднос с нашими шестьюстами в графине и тремя рюмками наземь и растопчет ногами.

– Вот такие они и были.

– Кто?

– Наш единственный женатый парень из студенческой компании и его, собственно, жена.

– Какие?

– Как официантка этого заведения. И официант.

– Ваши три по двести!

Так шарахает графином по столу, что ритмы наших восприятий, расслабленные созерцанием моря с обрыва, синхронизируются. Мы вспоминаем, что мы здесь не просто так. Мы играем в одну из самых забавных человеческих игр – в дружбу.

– А зелёный чай?! – опоминается один из нас, пока официант нервно разливает в рюмки.

Аж вздрагивает от такой наглости. Как будто через его тело ток пропустили. Но разливает исправно.

– У нас банкет! Ждите.

Уходит.

Двое из нас с укоризной смотрят на третьего. Тебе же сказали – у них банкет! Что непонятного?! Раз – сидеть, два – тихо ждать свой чай! Про уху, мидий и бычков лучше даже не спрашивать! Не то не уйдём живыми! Три по двести есть? Есть. Море с обрыва есть? Есть. Вот и хорошо. Ещё козы с котами. И пыльная тень одесских деревьев. И неповторимый аромат, нотками которого являются близость солёной воды, недалёкая степь и наша игра в дружбу. И запах жареной рыбы, источаемый стекляшкой. Всё будет. Надо только выучиться ждать. Быть спокойным и упрямым. Под три по двести – это легко и приятно.

– Вот Боря тоже никогда водку не проливал.

– Какой Боря?

– Да тот же. Который был в нашей студенческой компании единственным женатым.

– У которого была жена Ира? Типичная одесская еврейская девочка?

– Не типичная, а классическая.

– Есть разница?

– Колоссальная!

– Вздروгнули?

– А то!

- За что?
- Как за что?! За дружбу!
- Да. За то, чтобы мы не уставали играть в эту игру!
- В какую?
- Так в дружбу же!
- А это разве игра?
- Пить будем или так и застынем скульптурной композицией: «Трое с протянутыми рюмками»?
- За дружбу!
- За дружбу!
- За дружбу!
- Никаких игр – только спорт!

Чокаемся. Выпиваем. До дна. Закуриваем. Ну чисто матросы с затонувшего судна.

- Ты это к чему про никаких игр, только спорт?
- Это не я. Это кино такое. «Чего хотят женщины».
- И чего они хотят?
- Вам виднее. Вы – мужчины.
- Ты женщина. Тебе виднее.
- Ладно. Мне виднее. Женщины не знают, чего хотят. Могу вам только раскрыть страшную тайну: они хотят ровно не того, чего хотят мужчины.
- Ой, открыла Америку!
- И где ваша хвалёная мужская логика?

– Мы старые больные женщины. Отстань!

– Вот и Боря всё время говорил Ире: «Отстань!»

– О! Она к нему приставала?

– Ага. «Выбрось мусор! Выбрось ёлку! Купи шубу!» В таком духе.

– Шубу в восемнадцать-то лет?!

– Ире было двадцать. И у неё была шуба. И не одна. Она была из очень богатой семьи.

– Всегда вы, женщины, не с тем пристаёте.

– Так она, что, была старше этого Бори?!

– Ага. Прямо на целых два года. Старуха!

– А ты помнишь ту старуху, что?..

– Стоп! Надо по второй.

Выпиваем за дружбу.

– А ты помнишь, как я тебя попросил...

– Стать твоей девушкой? Помню. Это было очень смешно. Десять лет мы учились в одном классе. Десять лет дружили. И тут вдруг ты просишь меня стать твоей девушкой. Прямо на твоих проводах в армию.

– А ты мне отказала, зараза!

– Да. Прости. Двадцать лет должно было пройти, чтобы я поняла, что тебе не нужна была девушка. Тебе надо было там, в армии, письма от девушки получать.

– Не двадцать. А двадцать с лишним.

– Знаешь, хотел письма получать от девушки – надо было яснее формулировать цели и задачи! Что я, старому боевому товарищу любовных писем пожалела бы, что ли? Такое бы писала – закачаешься! Закачался бы!

– Всей частью закачались бы!

– Да уж... у тебя всегда был талант к художественному свисту в письменной форме!

– А я бы те письма сохранил и...

– И, кажется, я была права, отказавшись стать твоей девушкой.

Выпиваем за дружбу.

– А я сначала Таньке предложил стать моей девушкой по-настоящему...

– А я, когда работал экскурсоводом в Турции...

– А они мне говорят: «Набросайте нам пример банковского софта...»

– ... Так она сказала, что твой брат сказал, что я похож на толстую водопроводную крысу!

– ... Так вот, когда говоришь своей группе: «Тут золото не покупайте! Я знаю место, где в три раза дешевле!» Там все же места прикармлины, все гиды на откатах!

– ... Так я им и говорю: «Говна с лопаты вам не набросать? На вентилятор сервака. Я это запросто!»

Осень. Море. Обрыв. Тринадцатая. Которая Двенадцатая. Вместо Четырнадцатой, которую раскатали. Пространство-время, в которые можно заглянуть, но в которые уже не вернуться. «Которых» – уже четыре на абзац. А у нас за столиком только три. Но зато по двести.

- А Боря с Ирой...
- Дались они тебе!
- Да.
- Почему?
- Понимаешь, в юности в дружбу не играют. В юности всё по-настоящему.
- В юности *кажется*, что всё по-настоящему.
- Нет. Не кажется. В юности всё по-настоящему.
- Даже дружба?
- Даже покер!
- Даже любовь.
- Даже смерть.
- Ну, про смерть – это ты пожалуй...
- Ваш зелёный чай!

Он так долбанул чайником об стол...

* * *

Он так долбанул чайником об стол, что Ирку обрызгало

кипятком. Ирка было не привыкать. К брызгам кипятка, к синякам, к поездкам задницей на капоте. За год семейной жизни с Борькой Ирка стала подвижная и эластичная, как кошка. Ленивой, как кошка, она была и до Борьки. Их, конечно, поженили мамы с папами, но Ирку и Борьку страстно тянуло друг к другу, если между людьми существует страсть в смешные восемнадцать и двадцать. Существует, конечно же! Только эта страсть пока не вся изливается туда, куда и положено изливаться страсти в конечном итоге – не в тела. Юношеская страсть затапливает собою всё пространство. А в Боре страсти было – на взвод голодной солдатни! И не надо путать страсть с похотью. Последняя становится элементом первой много позже. С пресловутым возрастом. А в восемнадцать-двадцать существует только оглушительная и оглушающая страсть юности. А если умножить её на Борькин характер...

Ирка всё хотела делить. Борька жаждал лишь приумножать. Ирка хотела отделить Борьку от его юношеских безумств. Борька хотел вовлечь в свои юношеские безумства как можно больше народу. Когда у молодого человека нет проблем с деньгами, найти компанию достаточно легко.

Бесшабашные летние пьянки от Шестнадцатой до Десятой. Ночные купания на Золотом Берегу. Недельные массовые запои на даче Борькиных родителей, ставшей Борькиным домом с тех пор, как они с Иркой поженились.

Почему Борькины и Иркины родители так стремились

свести вместе своих детей? Во-первых, потому что они, родители, дружили. Во-вторых, чтобы объединить капиталы. В-третьих, Борькины родители полагали, что медлительная и ленивая дочурка друзей благотворно повлияет на их бешеного сынишку, а Иркины родители считали, что ненормально энергичный Борька расшевелит их чересчур нерасторопную крошку. Но ничего подобного не произошло – имеется в виду третье. Борька стал ещё подвижнее – и физически, и ментально, и психически. Ириша же стала ещё замедленней, потому как полагала, что замужняя женщина может совершенно спокойно жить, вовсе не сходя с кровати. Читать книги. Смотреть видеофильмы. Есть. И спать. Через пару месяцев ненормальной любви и ненормальных же скандалов семейная жизнь устоялась. Борька продолжил жить, не ощущая себя женатым. Ирка продолжила существовать, осмыслив себя крепко и навсегда замужней. Платой за навсегда замужнее положение была необходимость научиться уворачиваться от летающих по дому видеомагнитофонов, быстро (недолго!) бегать и вовремя отпрыгивать за декоративную изгородь от несущейся по аллейке к дому очередной Борькиной японской машины. Навыки эти Ирка, надо отдать ей должное, освоила быстро. Она была прилежной кое в чём. Кое в чём, что нужно для безмятежной жизни. Как любая классическая еврейская девочка (не путать с типичными жидами, которые пожизненно идут наперекор кондуктору), Ира хорошо училась. Так что Борьку с Иркой можно было

назвать счастливой семейной парой. И назвать вполне справедливо. Что бы и кому бы со стороны на этот предмет ни казалось.

А со стороны казалось, что Борька дома бывает крайне редко. А если и бывает – то только с огромными, шумными и пьяными компаниями. Со стороны казалось, что Ирка ленива. Но читать Фолкнера, Гёте и смотреть Феллини – весьма трудоёмкое занятие. Особенно если делать это на языках оригиналов. Ирка оканчивала романо-германский факультет университета. А языки учила с детства. Так что уже давно самостоятельно зарабатывала переводами. Не потому, что – при таких-то маме и папе! – нуждалась в деньгах. А потому что если уже есть деньги, то почему бы не заработать ещё? Это только алчные – те, которые требуют за работу много денег и отказываются от работы, потому что платят мало, – живут бедно. Жадность ведёт к нищете, как справедливо заметил кто-то из иностранных авторов. Те же, кто умеет считать, со всей арифметической ясностью отдают себе отчёт в том, что копейка больше, чем ничего; рубль – больше копейки; а успех слагается из множества попыток, как стольник слагается из ста раз по рублю. Который, в свою очередь... И накопление количества рано или поздно приводит к улучшению качества. Для понимания этого крутящего нашу жизнь момента даже не требуется оканчивать университет и знать фамилию «Гегель». Достаточно простого здравого смысла. И он у Иры был.

У Бори здравого смысла не было. Абсолютно. Что отнюдь не превращало Борю в дурака. Просто в каких-то заоблачных высях при разыгрывании тендера на финансовую удачу Боря по каким-то же неведомым причинам оказался в победителях. Потому любые деньги, проходящие сквозь Борины пальцы, превращались в ещё большие деньги. Хотя видит бог – Боря делал всё возможное, чтобы заработанные деньги как можно быстрее спустить. Он оплачивал попойки студенческих компаний. Как-то: студентов мединститута (он сам, как это ни странно, студентом этого самого института и являлся), студентов политеха (просто потому что те во множестве тусовались на Большом Фонтане и в качалке, куда Боря заходил водки попить); студенток романо-германского факультета (но тем вообще было много не выпить, а слишком дорогого мороженого в те славные времена ещё не изобрели, и трюфели летом в Одессу не завозили).

В медицинский институт Борька поступил назло родителям. Они хотели делать из него финансиста. И заставляли поступать в нархоз. Чем нархоз может помочь человеку, по рождению и по факту наличия сверхъестественной удачи являющемуся финансистом? И Борька пошёл в медин. Родители посмеялись, мол, куда ты поступишь, сынок? В медицинский нужны либо деньги и связи, в смысле, первое – на второе. Либо химия-физика и русский язык (о да, тогда ещё в Одессе при поступлении в вузы писали сочинение на русском языке!). Смеялись они ровно до того дня, пока не уви-

дели Борьку в списках поступивших. Нет, они ему не поверили на слово, и он их привёз под окна главного корпуса, за которыми и были вывешены списки. Родители не поверили ни Борьке, ни своим глазам – и пошли в деканат. Борька поступил в медицинский институт. Слабо представляя себе, что такое валентность и чем атом кислорода отличается от атома водорода. Папа и мама дали ему денег. Поздравили, вроде как... Сынок и отпраздновал. Вместо того чтобы купить себе машину или отправиться в круиз, Борька половину тут же пропил. А на вторую половину открыл... кооператив экстрасенсов. Называлась его контора как-то вроде «Нетрадиционная медицина традиционными способами». Или же «Традиционная медицина через нетрадиционные места». А то и вовсе «Энергетическая авиценна» (при этом Борька и знать не знал, что это за авиценна такая). Суть не в этом. Суть в том, что Борька взял на работу хорошего стоматолога, отличного кожных венеролога, замечательного массажиста и какого-то узкоглазого дядю, занимавшегося иглоукалыванием. Самого главного экстрасенса изображал сам Борька. Он размахивал руками над головами, «снимал отрицательную энергию», и вообще, вёл себя, как клоун. К нему стояли очереди. Через полгода он опомнился. Сдал сессию. Купил машину и сходил в круиз. Привёз из Греции шуб, из Турции – кожаных курток «из залуп». И всем этим торганул на Седьмом километре. Потом открыл салон проката видеокассет. И ещё – дёрнул с порта вагон апельсинов. И открыл торговлю ав-

тозапчастями по принципу «ройся-копайся». И наладил поставку контрабандных сигарет тем, кто так и не научился курить акцизные. И... Короче, как-то оно само собой закрутилось. И на месте одного видеомэгнитофона, просвистевшего в окно второго этажа мимо Иркиного уха, на следующий же день появлялось два других. Взамен двух покрошенных топором в пластмассовую труху японских телевизоров возникало четыре новых. А вместо разбитой насмерть праворульной «Тойоты», спущенной по склону Тринадцатой, чисто чтобы посмотреть, «как это у них в кино так красиво выходит!» – чудесным образом из пространства материализовывалось леворульное «Вольво», которое тогда, признаться, днём с огнём было не только в Одессе.

Борька перепланировал, перестроил и отделал родительское летнее гнездо так, как на пресловутых фонтанских дачах тогда ещё не видывали. Особняки стали появляться много позже. При всём при том – Борьке на тот момент было лишь девятнадцать лет. Со всеми вытекающими из возраста и характера. Несмотря на его женатое положение.

Но однажды Борька влип. И влип по-страшному. Потому что машины под откос пускать – это одно. А убийство – это совсем другое. Мягко сказать. Груда металла против человеческой жизни.

Борька очень любил играть в карты. Нет, он не был игроком. Просто – любил играть в карты. В покер. Может же человек любить хорошее спиртное, но не являться алкоголи-

ком. Может любить красивых женщин, но не быть бабником. Может любить играть в карты, но не быть игроком. Особенно – игроком профессиональным. Таким, что обуваёт другую категорию игроков – игроков клинических. Ни профессиональным, ни клиническим Борька не был. Но однажды попал в компанию, где два профессионала раздевали клинического. И выиграло в Борьке ретивое. Он и по меньшим поводам – вроде не вовремя принесённого зелёного чая – мог в любом заведении скандал закатить. Ирка криво глянет – разбитое окно. Мама не так по телефону про «как дела?» спросит – аппарат об стену. А тут в его присутствии, за одним с ним столом, профи обувают больного человека на весь его годовой запас тугриков, из рейса привезённых в семью, да ещё и ему, Борьке, подмигивают. Мол, сиди не жужжи, гешефт поделим!

Ещё, как назло, у Борьки недавно новое увлечение появилось – холодное оружие. Сабли такие-сякие, штыки разтакие-эдакие. И ножи-ножи-ножи. Где он их брал? Куда он их сплавлял? И – главное – зачем? И как он при таком характере и полной безбашенности Ирку свою не зарезал? Хотя крутая по тем временам вагонка на стенах веранды, цвета «нежнейший беж», была напрочь истыкана, изрезана, исполосована Борькиными упражнениями с остро наточенным металлом. Борька даже шпагу где-то приобрёл. Шпагу и несуразное армейское х/б. И кирзовые сапоги. Кто-то менее спокойный, чем классическая еврейская девочка Ира, глядя на Борю, хо-

дящего в застиранной гимнастёрке, топорщащемся галифе, наваксенной кирзухе и со шпагой на боку – плакал бы. Рыдал бы. И бился бы головой об стены. Но Ирка знай себе лежала и читала Хемингуэя. Находя оригинал менее интересным, чем переводы Лорие.

Вот в таком вот виде – в х/б, кирзе и с болтающейся до полу шпагой – Борька и играл июльской ночью давно затёртого года в покер. На ныне раскатанной Четырнадцатой. С двумя профи и одним клиническим. Спиртного в Борьке было уже по уши. И такая волна возмущения его захлестнула при виде того, что совершалось за карточным столом, аж великий и могучий ой! Особенно когда мужик ключи от машины на тот самый стол положил. И дальше речь уже пошла о кооперативной квартире, в которой незадачливого старпома ждали жена и двое детишек. Тут Борька вскочил, бутылку об стену разбил. В одного из профессиональных шпагой потыкал. И на воздух вышел. А то в служебном помещении стекляшки на Четырнадцатой было сильно накурено. А Борька на воздухе курить любил. С видом на море.

Вышел. Шпагу окровавленную о штаны вытер. Перекур. Сел в машину. И поехал. Домой. Но по дороге передумал. Скучно ему как-то стало. Душа требовала продолжения подвигов. И потому он подъехал к даче своего кореша – студента политеха. Дело было к трём часам ночи, и студент политеха тихо спал, пуская счастливые шашлычные слюни в девичьи, пахнущие морем, солнцем и юностью, кудри.

Борька долго стучал в калитку. Кулаком. Эфесом шпаги. И даже ногой. Но студент политеха никак не желал просыпаться. Зато проснулся его дедушка. Дедушка студента политеха был стар и страдал бессонницей. Потому он вынырнул из беспросветного тягучего марева бесчисленных попыток нормально уснуть аж на другом конце дачи и, неторопливо шаркая, подошёл к калитке. И открыл её. В июльской ночи стрекотали цикады, и мягкий шум недалёкой волны делал дедушкин мир готовым к покою. Дедушка не был уверен, что он готов к покою прямо так сразу чтобы вечному. Но к покою вообще, как к понятию, дедушка студента политеха был готов. Потому что некогда был председателем Одесской коллегии адвокатов, доктором юридических наук, профессором кафедры правоведения юридического факультета университета и пенсионером союзного значения. Дедушка был стар и слегка подслеповат. Быть подслеповатым в июльской одесской ночи вообще не сложно. А сенсорных фонарей, возгорающихся на пробегающего мимо по своим делам кота или бессмысленно пролетающую ночную бабочку, тогда ещё не было.

– Кто там? – вежливо спросил дедушка. Хотя время суток к вежливости не располагало. Но дедушка был очень интеллигентным человеком.

– Это я! – отчеканил Боря, перестав наконец колошматить по калитке.

– Чего тебе, Борюшка? – елебно уточнил благостный старик.

– Дед, Серого позови!

– Серёженька спит, Борюшка. Три часа ночи. У тебя что-то важное?

– Да, – сказал Боря. – Да. Важное. Очень важное, – добавил он. – Я человека убил, – решил он расшифровать специально для Серёженькиного дедушки. Чтобы уж дедуган не сомневался – дело, точняк, важное.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.